

A dramatic black and white photograph of two hands clasped together. The hands are positioned vertically, with fingers interlaced. The background is a dark, heavily cracked surface, resembling parched earth. On the forearms, there are blue ink tattoos in Russian. The upper forearm has the word 'ЧЕЛОВЕКА' (of a person) and the lower forearm has 'НЕ ПОТЕРЯТЬ' (do not lose). The overall mood is somber and evocative.

АРКАДИЙ И ГЕОРГИЙ **ВАЙНЕРЫ**

PREMIUM

Аркадий Александрович Вайнер
Георгий Александрович Вайнер
Не потерять человека
Серия «Азбука Premium.
Русская проза»

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68346236
Не потерять человека: Азбука, Азбука-Аттикус; СПб.; 2022
ISBN 978-5-389-22098-0

Аннотация

Братья Вайнеры – признанные мастера детектива, но с успехом работали и в других жанрах. Например, события повести «Карский рейд» разворачиваются в двадцатые годы XX века. Россия измучена потрясениями революции и кровопролитной Гражданской войной. Высока внешняя угроза. В европейской части страны голод, а в Сибири хлеб есть, и с избытком, но доставить его можно только Северным морским путем, и задача эта кажется почти невыполнимой...

Еще один образец нетрадиционного для Вайнеров творчества – художественно-документальные очерки, объединенные в книгу «Не потерять человека». В них авторы рассказывают о реальных судьбах подростков, преступивших закон.

Повесть Аркадия Вайнера «Нелюдь» легла в основу сценария одноименного фильма 1990 года. Главные роли в картине исполнили такие замечательные актеры, как Людмила Гурченко, Борис Невзоров, Сергей Никоненко.

Содержание

Аркадий и Георгий Вайнеры. Карский рейд	6
Часть I. Бегство	6
Часть II. Поход	92
Конец ознакомительного фрагмента.	175

Аркадий и Георгий Вайнеры Не потерять человека

© А. А. Вайнер (наследники), 1990

© А. А. Вайнер, Г. А. Вайнер (наследники), 1978, 1983

© Оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2022

Издательство АЗБУКА®

Аркадий и Георгий Вайнеры. Карский рейд

Часть I. Бегство

Указка ползала по карте, как худая голодная пиявка, и главнокомандующему казалось, что там, где ее острый черный кончик задерживался, она глотала опорные пункты, укрепленные деревни, охраняемые разъезды.

– ...Противник численностью до двух полков вышел через деревню Дениславская к узловой станции Плесецкая и после короткого кровопролитного боя захватил ее... – гудел где-то сбоку, над самым ухом, простуженный насморочный голос штаб-офицера.

Офицеру не хватало воздуха, его душили аденоиды, и главнокомандующему все время хотелось приказать ему высморкаться, но не было сил заговорить, и от этого Миллер плохо вникал в подробности доклада, их напрочь смывал гундосый сопливый голос штабиста. Да и в подробностях ли сейчас дело? Сейчас важна суть...

– ...При содействии местных жителей-проводников красные обошли по брошенным лесным дорогам укрепленный населенный пункт Кочмас и захватили разъезд Четыреста

шестнадцать, – бурлил тяжелым носом офицер. – Из-за угрозы быть отрезанными от основных сил наш бронепоезд «Генерал Алексеев» вынужден был отступить без боя, взорвав при отходе мост через реку Емца...

– Где сейчас проходит линия обороны? – перебил штаб-офицера Миллер, слушать дальше было невыносимо. Хотя в этом тоже была страшная примета всеобщего разрушения и гибели: командующему победоносной армией ни при каких обстоятельствах не мог бы докладывать офицер с заложенным носом.

– ...Нарушена связь... последние донесения недостоверны... части вышли из повиновения... – загугнил, забулькал штабист.

– Но где дислоцированы части, которые не вышли из повиновения и с которыми не нарушена связь? – зло выкрикнул главнокомандующий.

Начальник штаба генерал Марушевский горестно вздохнул, отодвинул насморочного дежурного, сипло сказал:

– Господин командующий, фронта больше не существует. Сегодня утром красные оседлали железную дорогу на Котлас, захватили Емец и Обозерскую, отрезали нас от броневых сил и стремительно катятся на Архангельск. На их сторону перешел Архангелогородский полк, гаубичный дивизион, пулеметные роты «люисганов»...

– Вы хотите сказать, Виктор Васильевич, что у нас больше нет связи с войсками и вы не представляете, что происходит

на фронте? – сердито поджал губы Миллер.

Вынырнувший из-за плеча Марушевского начальник контрразведки Чаплицкий неприятно засмеялся:

– Генерал Марушевский хочет сказать, что нет фронта...

У Чаплицкого были горячечные глаза фанатика. Или человека, не пренебрегающего кокаином. Или не остывшего после свалки драчуна. Неприятный субъект. У него на лице всегда написано желание сказать дерзость. Или подпустить шпильку. И лучше всего было бы сейчас прикрикнуть на него, одернуть, поставить на место.

Но состояние бессилия, наваждения, долгого кошмарного сна, лихорадки не покидало, сковывало волю нерешительностью, а тело немощью.

Рассеянно пощипывая бородку, Миллер прислушивался к стрекочущей в виске головной боли, пронзительно-злому и надоедливому сверчку, перфорацией высекающему дыры пустоты и забвения в мятой поверхности перепуганных и смятенных мыслей.

Наваждение, обман чувств, мираж. Удивительно долгий невероятный сон. Не могла так быстро, так внезапно, так необъяснимо свернуться, истлеть, растаять вчера еще огромная империя. Свестись к задымленному, прокуренному, оторванному от всего мира уголку гостиной Архангельского коммерческого клуба, где доживает последние часы его ставка – резиденция главнокомандующего и генерал-губернатора Северного края.

Он смотрел в яростные сумасшедшие глаза Чаплицкого, и в его душе поднималась вялая ненависть. Но звонко тарахтящая боль в виске сразу смирляла ее, и он вновь погружался в зыбкую сумерь нерешительности, боязни, мистической надежды на какое-то чудо.

– Что же делать? – неожиданно для себя сказал он вслух. Громко.

И в этом крике души – сигнале полной потери воли, признании в своем бессилии и непонимании происходящего – было такое предречение гибели, распыла, исчезновения, что смолкла на миг обычная штабная суета. Даже телеграфный аппарат Бодо остановил свой непрерывный щелк и неутомимое кружение бумажных лент.

И электрический ток ослаб в лампах – будто сигнала ждал. Померк, пожелтел свет, яичным болтуном тревожно сгустился в прозрачных колбочках, накалил в них докрасна проводки и – погас совсем.

Забегали, зашаркали адъютанты, упал в темноте стул, кто-то зашибся и коротко, зло ругнулся, шелестели во мгле бумаги, и в темно-фиолетовых намерзших задышанных окнах стал все яснее и пугающе проступать багровый отсвет далекого пожара.

– Свет! Принесите лампы! К командующему свечей! – гукали, перекатывались по дому голоса.

Надсадно кричал в телефонный рожок кто-то из офицеров:

– Почему нет света? Что с электричеством? Дайте срочно свет!..

Золотистые дымящиеся овалы керосиновых ламп и выражение радостного облегчения на лицах у всех – как у перепуганных детей, выведенных из темноты. Брошенный на крюк телефонный наушник – электростанция забастовала, рабочие разбежались.

– Что же делать? – уже тихо, растерянно повторил Миллер, и было ясно, что он не ждет совета или помощи от присутствующих: ему нужна была подсказка сверхъестественных сил, способных разрушить этот длящийся горячечный кошмар ухода в небытие.

Угревшийся у голландской печи лесопромышленник Зубов, единственный штатский в кабинете, терпеливо помалкивал. Но после слов Миллера он вдруг сварливо заметил:

– Это вы, господин губернатор, должны сказать – что нам делать! Вы так яростно настаивали на передаче вам диктаторских полномочий, что я пошел на неслыханную меру – как вице-премьер, я распустил демократическое правительство Северного края! А вы за девять дней неограниченных полномочий ничего не сделали, чтобы переломить обстановку на фронте! Мы, конституционные демократы...

– Замолчите! – свистящим тонким голосом закричал Миллер. Он вскочил с кресла, затопал ногами и закричал еще пронзительнее, и криком этим он душил в себе страх, отчаяние и тонкую свиристящую боль в виске: – Замолчи-

те, презренный либерал! Вы, вы, вы! Сытые, праздные, тщеславные болтуны довели Россию до гибели! Это не большевики, а вы раскачали устои монархии! Вам была нужна конституция! Вы требовали Думы и Учредительного собрания! Вам была невыносима династия Романовых! Вас не устраивали правительство и армия! Вы все получили теперь – все, чего добивались! Вы развратили народ неосуществимыми посулами и хотите, чтобы мы платили за ваши обещания! Так помалкивайте, по крайней мере! Иначе я сейчас же прикажу конвойному взводу расстрелять вас во дворе!..

Миллер обессиленно упал в кресло, и в наступившей тишине вдруг раздались одинокие отчетливые аплодисменты – это хлопал в ладоши, светил горячечными глазами, весело смеялся Чаплицкий:

– Bravo! Прекрасно сказано! Если вы мне разрешите, господин командующий, я могу освободить от хлопот конвойный взвод. С удовольствием и очень умело я управлюсь в одиночку с этим ответственным и полезным делом! Разрешите приступить?..

Зубов испуганно нырнул в полумрак, подальше от этого сумасшедшего. А Миллер недовольно покосился на Чаплицкого, сглотнул несколько раз, умеривая дыхание, и негромко, но твердо скомандовал:

– Генерал Марушевский, приступайте к эвакуации на Мурманск. Абсолютно секретно. Нельзя поднимать панику в остающихся частях...

И мгновенно возникший вал безудержной паники общего бегства неостановимо покати́л к причалам торгового порта.

Красноармеец Тюряпин до войны жил в теплом южном городе Ростове. А работал грузчиком на хлебных ссыпках компании «Братья Вальяно». Любил он солнце, огромные сахарные арбузы и веселую жизнь портовой вольницы, не признававшей и не терпевшей над собою никакого начальства, кроме артельного старосты. И когда в августе четырнадцатого года околоточный надзиратель вручил ему мобилизационный лист, купил он на береженный для зубов золотой империя́л ведро водки, свиной задок, четыре пшеничных карава́я и мешок – бездонный «ламтух» – с арбузами. Товарищи по грузчи́чьей артели чинно приняли угощение, степенно покалякали на прощанье, обняли крепко – до костного хруста – и дали твердое наставление: на фронт не ходить нипочем.

– Не твое и не наше дело, не, – заверил артельный батько. – Пущай Вильгельм с Николой сами разбираются, раз кашу завари́ли...

И покати́л Тюряпин вверх по Дону до Калача, там перебрался на Волгу, на палубе парохода общества «Самолет» поднялся до Нижнего Новгорода, а уж оттуда – на Урал, в Сибирь – дорога короткая. Два года бродяжничал, пока не сцапали в Чите, и сколько ни прикидывался дурачком без памяти, без имени, без разума – укатали все-таки в мар-

шевый батальон, направлявшийся на Западный фронт.

И открылся тут в нем талант разведчика: не было экспедиции за колючую проволоку, через линию фронта, чтобы не включили туда пластуна Тюряпина. Здоровое молодое тело, налитое хлебной силой, наловленное бесконечной беготней с шестипудовыми мешками по узким качающимся сходням, послушно и терпеливо подчинялось хитрой белобрысой голове вольного бродяги. За взятого в плен немецкого оберлейтенанта дали Тюряпину погоны унтер-офицера, за приращенного на себе с той стороны раненого поручика Сестрорецкого полка Иоганна Федоровича Кизиветтера навесили «Георгия». «Я с этими немцами – ихними и нашими – скоро генералом стану!» – веселился Тюряпин. Но стать генералом не успел, потому что грохнула революция, развалилась армия, солдаты стали брататься, а генералов упразднили вовсе.

И к собственному удивлению, Тюряпин поехал не в Ростов, где ждали его солнце, арбузы и портовая вольница, а вступил в Красную армию и третий год подряд голодал, холодал, мерз, мок, отступал, наступал, шагал через болота, тайгу, тундру, вместо тепла южного солнца терпел приполярную стылость, вместо сахаристой мякоти арбузов, которых в здешних краях никто и в глаза не видывал, пил морковный чай с сахарином и приучился даже соблюдать дисциплину.

Шестерым бородатым поморам, молчаливым, дремучим, как старый черный амбар на перекрестке дороги в порт, где они заняли позицию, Тюряпин пояснял:

– Ликвидируем белых, кончим капитализм – жизнь станет вольная, теплая, сладкая. Как арбуз. Вот ты, дядя, хоть раз в жизни ты ел арбуз?

Заросший волосьем до самых глаз дядя в облезлой собачьей дохе арбуза не ел. Он думал о том, что если сегодня-завтра красные сюда поспеют, то, может, удастся скрыть от белой интендантской реквизиции коровенку Фросю, и тогда – с молочком, с картохой, с оладьями из отрубей – можно будет дотянуть всех пятерых ребятишек до весны. А там – рыба появится, летом вообще легче, клюква пойдет, а скорбут-цинга клюквы как огня боится.

Только бы красные подошли скорей! Вот этот разбитной веселый красноармеец, когда решил остаться с ними в засаде, отправил к своим двух других и сказал им: бежите, мол, без остановки, а сюда возвращайтесь с ротой по сожженному мосту, он всего на полметра притолен, бежите быстрее, часа за три обернетесь коли, мы белых от портаотрежем...

– Ни разу в жизни арбуза не ел? – огорчился Тюрятин.

– А это што такое – мясо? Али дичь? – спросил неспешно другой бородач, внимательно всматриваясь в ночь сквозь узкие окошки-бойницы.

– «Дичь»! Скажешь тоже! Сам ты, дядя, дичь! Арбуз – это такой плод, либо, ежли по-научному, точнее говоря, – это ягода...

– Ягода! – удивился мальчишка со степенным именем Гервасий. – Вроде клюквы, што ли?

– Клю-ква! Клюква – тьфу, кислота одна и горечь! А арбуз – как сахар, и размера – во-от какого! – развел на всю ширину руки Тюряпин.

– Во врет служивый! – восхитился мужик в собачьей дохе. – Где же это растут ягоды с котел?

И Гервасий по-мальчишечьи заливисто засмеялся, за живот схватился, покатился от веселья и позавидовал: вот что значит городской человек – чего хошь наврет, ресницей не вздрогнет.

Тюряпин тоже усмехнулся, головой покачал несердито, сказал душевно:

– Эх, мужики, мужики, вот для того и нужна позарез победа революции, чтобы вы темноту свою осознали, из берлог своих на белый свет повылазили.

А бородач у окна вдруг сказал тихо и сдавленно:

– Эй, вы, там! Угомонитесь! Едут, кажись...

И в разом наступившей тишине отчетливо зарокотал близкий гул моторов, и тоска подступила к сердцу, и Тюряпин досадливо крикнул:

– Эть, жалость-то какая! Не успели, слышь, к нам ребята! Теперя самим придется...

Передернул затвор, загнал патрон и встал к темному проему в стене.

– А что, ваше высокопревосходительство, в Риме не бывает таких холодов? – дурашливо спросил Чаплицкий.

Миллеру послышалась насмешка в хриплом голосе офицера. Он растерянно заморгал, кашлянул, ответил без всякого проблеска иронии:

– В Италии, где я имел честь представлять военные интересы империи Российской...

– Империи... Пропили мы нашу империю... Прогуляли... – перебил Чаплицкий. Длинно, с повизгиваньем, зевнул и добавил тихо, устало, без выражения: – Теперь движемся в Италию... Представлять... самих себя.

Офицеры ехали в бронированном «роллс-ройсе» по окраинной, плохо мощенной улочке Архангельска. Мела сырая февральская поземка, ни одного окошка не светилося в старых покосившихся домах. Город испуганно затаился, замер, ожидал неведомых перемен.

Миллер сердито, по-петушиному, крикнул:

– Ну-ну-ну, не забываетесь, господин капитан первого ранга! Есть Мурманский фронт, есть флот! Есть, наконец, союзники!

– Что же вы их не использовали здесь, в своей столице Архангельске? – со злым истеричным весельем спросил Чаплицкий. – Еще вчера ведь и здесь был фронт, и флот был, и союзники? А-а?..

– Извольте, милостивый государь, не перебивать меня! Вы знаете, что такое стратегия? Ценою малых потерь обретается победа в главном. Кутузова, когда он оставил Москву, обвиняли в трусости... да что в трусости – чуть ли не в преда-

тельстве!

– Вот это точно, – согласился Чаплицкий. – Убедили. Вы – Кутузов. А кто Наполеон?

– Серьезность момента не позволяет примерно воздать вам за невоспитанность, – выдавил из себя Миллер, задыхаясь от возмущения. – Настоящий дворянин отличается от плебея умением и в трудной обстановке сохранять достоинство. Вы никогда над этим не задумывались?..

– Совершенно с вами согласен, господин генерал-лейтенант. – Чаплицкий едко усмехнулся. – Особенно, если учесть одно весьма существенное обстоятельство...

– Какое же? – высокомерно вскинул брови Миллер.

Чаплицкий прищурился:

– Когда мой прадед был министром двора у короля Августа, ваш предок варил пиво в Бадене...

Ответить Миллер не успел.

Когда Тюрятин увидел на полого спускавшейся к ним улице свет фар нескольких автомашин, он вдруг с удивительной ясностью понял, что с того самого момента, как он, пробравшись в город, разыскал партизан и они рассказали, что солдат-телефонист из миллеровского штаба успел шепнуть им об эвакуации, то и не надеялся он на подход подкрепления. За несколько часов им было не обернуться. Но и не задерживать штаб – хоть ненадолго – Тюрятин не мог не попробовать. И о том, что отбиться ему не удастся, старался Тюрятин

не думать. До того мига, пока не засветили ярко в сизой черноте ночи слепящие плоски автомобильных огней, которые никому, кроме штаба, принадлежать не могли.

И пока наводил черный плавный пенек мушки между фар и чуть-чуть выше, чтобы вернее вклеить в водителя, ущемила сердце коротко, но больно быстрая мысль о том, что на Дону уже синие широкие разводья, лед трескается и громко шуршит перед тем, как с гулким ревом сорваться разом и за одну ночь уйти в море, и над городом уже плывет соленый ветер близкой большой воды, и каштаны набухают толстыми почками, и закаты стали длинны, покойны и прозрачно-сиреневы. Эта весна была для кого-то. Тюряпину остался черный амбар на перекрестке пологой дороги в порт, медленно приближающиеся снопы света и черная черточка мушки, упершаяся наконец твердо между двумя огнями, только чуть-чуть повыше.

И осторожно спустил курок.

Еще не услышав хлопка выстрела, передернул затвор, достал следующий патрон из подсумка и снова плавно, ласково нажал спусковой крючок...

Ответить Миллер не успел.

Ночь треснула неровным ружейным залпом, и пули заколотили по толстому кузову «роллс-ройса», как палкой по корыту. В машине горько запахло паленой обивкой, холодом, и сразу стало очень неуютно.

– Анчуков, полный газ! – крикнул Чаплицкий сидевшему за рулем поручику, но тот, как будто неожиданно и неодолимо устав, осел на руль, и машина, потеряв скорость, рыскаиво покатила из стороны в сторону по узкой ухабистой мостовой.

– Быстрее! Быстрее... – беззвучно зашептал онемевшими губами генерал, и Чаплицкий заметил, как в темноте нехорошо, мучительно забелело его лицо.

Чаплицкий всмотрелся в заднее стекло – было видно, как несколько человек в тулупах и шинелях перебежали улицу в проход за боковым домом. Он дотянулся с заднего сиденья до шофера, толкнул его в плечо:

– Анчуков, ты что? С ума сошел?... Мать вашу, совсем от страха ополоумели!

Анчуков, не выпуская баранки из рук, послушно завалился на левый бок, ударился головой о дверцу, она распахнулась, и поручик выпал из автомобиля. Последнее, что успел заметить Чаплицкий, была черная прямая струйка крови, разрезавшая щеку Анчукова, как удар сабли. Снова грохнул залп – нестройный, редкий, и Чаплицкий на слух определил, что стреляющих мало и стрелки они не ахти какие.

Неуправляемый автомобиль катился по узкой пологой улице, подпрыгивая на ямах и наледях.

– Конвой! Где конвой, я вас спрашиваю... – рыдающим голосом заныл Миллер.

– Да замолчите вы! – крикнул Чаплицкий. – Это наши же

солдаты стреляют. Ложитесь на пол скорее, не то укокошат! Ну! Ку-ту-узов...

Перегнувшись через спинку переднего сиденья, Чаплицкий попытался удержать руль, но тяжелый автомобиль неудержимо катился в сторону домов.

– Кто же это мог напасть на нас? – под руку бормотал главнокомандующий.

«Какой же дурень наш генерал, Господи, спаси и помилуй!» – подумал Чаплицкий и бросил:

– Конница Мюрата...

Толкнул дверцу и выпрыгнул из машины.

Упал, тяжело ударился о мостовую. Глухая боль резко отдалась в груди и животе. Над головой взвизгнула пуля, а через секунду машина с надсадным грохотом и звоном врезалась в дом. Побежало, застелилось синими огоньками, белыми сполохами быстрое бензиновое пламя...

Чаплицкий приподнялся, и тотчас рядом звякнула пуля. Он прижался к мостовой и подумал: «Когда лежу – из-за сугроба меня не видать... А ведь дуралей этот сгорит там, в машине...»

Перекатился на другой бок и в конце улицы увидел быстро приближающийся грузовик с конвоем, покачал головой: пожалуй, не успеют, но все-таки, лежа на снегу, стянул с себя шинель, сложил ее так, чтобы в свете разгорающегося пожара виден был золотой погон, потом приспособил на воротник офицерскую фуражку и выставил это сооружение из

сугроба.

И прежде чем услышал выстрел, почувствовал, как дернулась в руках пробитая шинель. «Вот так и в меня когда-нибудь...» – подумал он равнодушно и, не оглядываясь на торчащее поверх сугроба-бруствера чучело, быстро отполз в сторону.

Прислушался, потом резко, рывком, вскочил и длинными петляющими бросками побежал к разбитому автомобилю.

Несколько запоздалых выстрелов ударили вслед, но Чаплицкий был уже под укрытием машины и судорожно рванул на себя заклинившую дверь.

Миллер, съжившись, лежал на полу машины. Чаплицкий потрогал его за плечо, дернул на себя – генерал зашевелился, поднял голову, судорожно выдохнул:

– Что?!

– Вылезайте, сгорите! – крикнул Чаплицкий, обхватил Миллера поперек корпуса, потянул из машины. Миллер судливо задвигался, подался вперед, неловко перевалился через подножку.

Несколько метров проползли по-пластунски, а потом сзади загрохотал взрыв, яркое пламя взметнулось выше домов, их опалило горячим смрадным ветром – взорвался бензобак «роллс-ройса»...

Подкатил грузовик, с визгом тормознул, остановился, и из кузова ровно затрещали два «гочкиса». Личная охрана главнокомандующего – отделение из офицерского «батальо-

на смерти» с черепами на рукавах – рассыпалась в цепь, но из проулка никто больше не стрелял.

Начальник конвоя прапорщик Севрюков крикнул Чаплицкому:

– Эт-та, оденьтесь, барин, застудитесь насмерть!

Чаплицкий криво усмехнулся, пошел к снежному брусту. Остановившись рядом с ним, он с интересом посмотрел на свою шинель: прямо под правым погоном виднелось небольшое отверстие от пули.

Колупнул отверстие ногтем, пожал плечами, неторопливо надел сначала фуражку, потом шинель, аккуратно застегнул все пуговицы.

Тяжело вздохнул и вернулся к грузовику.

Миллер, невредимый, смертельно напуганный, срывающимся голосом командовал:

– Оцепите квартал, они никуда не могли уйти, там, впереди, – обрыв!

«Господи, какой же дурак!» – снова подумал Чаплицкий и сказал негромко:

– Ваше превосходительство, некогда их ловить... Штаб уже в порту... Ледокол ждет – мы еще до рассвета должны выйти из устья.

Миллер рассвирепел:

– Не давайте мне советов, господин Чаплицкий. Вы ведь руководите секретной службой? Поэтому займитесь своим делом – захватите террористов!

Чаплицкий поморщился:

– Разрешите доложить, ваше превосходительство: безграмотные мужики с обрезами называются бандитами... Или партизанами – как вам больше нравится...

– Не превращайте приказ в дискуссию, – закричал Миллер. – Исполняйте!

Чаплицкий взял под козырек:

– Слушаюсь, господин генерал-лейтенант. – И повернулся к начальнику конвоя: – Трех человек сопровождения господину главнокомандующему. Первый причал, ледокол «Минин». И сразу с грузовиком обратно – за нами...

К утру партизан вместе с Тюряпиным загнали в брошенную бревенчатую избу на откосе Двины. Их оставалось шестеро.

Разрозненной, но точной стрельбой они и близко не подпускали офицеров.

Севрюков пробормотал:

– Хорошо бы этих сволочей взять живьем.

– Зачем? – отозвался Чаплицкий. – Лучше погрейте их зажигательными...

Два пулемета располосовали серый сумрак очередями, изпод крыши начал стелиться грязный дымок, кое-где проглянули розоватые язычки пламени. Стреляли из дома одиночными, все реже и реже.

– Сейчас мы их вытурим оттуда, – пообещал Севрюков.

Чаплицкий внимательно смотрел на его освещенное заревом лицо – сумасшедшие белые глаза наркомана, длинные прокуренные зубы, подергивающийся уголок рта, – и его трясло от холода, усталости и тоски.

Глядя на залегших цепью карателей, он процедил со злобой и горечью:

– Российское офицерство, цвет нации!.. В Бога, святителей и всех архистратигов...

Чернели глубокими провалами выбитые окна, время от времени в них призрачно мелькал силуэт, и тогда раздавались выстрелы, одиночные, кашляющие – винтовочные, и частая густая дробь пулемета.

Огонь занялся пуще, языки пламени поднимались выше кровли, но никто не выбегал из избы.

Рухнул потолок, до неба взметнулись искры...

Севрюков заухмылялся:

– Все. Счас жарковьем потянет... Эть, суки! Им лучше в огне сгореть, чем нам в лапы...

Уже направляясь к грузовику, Чаплицкий на мгновение остановился и спросил:

– А вы, Севрюков, что бы на их месте?..

– Застрелился бы небось, – пьяно захохотал прапорщик. – Мне ведь от большевиков – да и от дворян иерусалимских – пощады ждать не приходится... – И добавил с каким-то мертвенным спокойствием: – Конечно, и я им пощады не давал. Никому... Так что на том свете сойдемся – посчитаем-

ся...

Винтовочной стрельбы конвоя Тюряпин не боялся. А вот когда из подъехавшего грузовика избу стали поливать в два огненных хлыста пулеметы, понял Тюряпин, что пришел конец. И отступить было поздно, да и некуда – позади обрыв.

И конечно, хорошо бы еще хоть на полчаса задержать бегущих беляков – а вдруг наши успеют обернуться!

Оглохший от грохота, со слезящимися глазами – дым все гуще заволакивал избу, – Тюряпин ровно, не спеша стрелял в черные, по-сорочьи скачущие на снегу фигурки конвоя и, когда захлебнулся, замолк ненадолго один из пулеметов, крикнул удовлетворенно.

И сразу же почувствовал острую режущую боль в щеке и сочащуюся за воротник горячую влагу.

«Убили!» – мелькнула всполошенная мысль и сразу исчезла, потому что боль не проходила.

Тюряпин нащупал рукой и вытащил из щеки длинную гладкую щепку, отколотую пулей от бревна.

«Ничего, ничего», – бормотнул быстро и сердито, выглянул в окно-бойницу, но за спиной кто-то пронзительно-коротко вскрикнул, и углом глаза Тюряпин увидел, как завалился на середину избы мужик в собачьей дохе и посунулся к нему мальчонка Гервасий.

И, разряжая винтовку в торчащий из-за сугроба золотой офицерский погон, мутно поблескивавший во мгле, Тюря-

пин устало, равнодушно подумал, что так и не увидел, так и не попробовал мужик взаправду существующую ягоду чудесную, размером в обхват, – арбуз.

– Гервасий! Гервасий! Иди сюда, парень! – позвал он мальчишку и бросил ему свой подсумок. – Набивай-ка мне пока обоймы...

И сколько прошло времени, было ему неизвестно, когда вдруг заросший черный мужик откинулся молча назад; во лбу у него виднелась маленькая дырочка аккуратная.

Потом страшно захрипел, забил ногами и смолк пропахший рыбой тихий помор из Лямцы.

И, схватившись за живот, сел на землю, харкнул кровью белобрысый здоровенный промысловик из Няндомы, отбросил в сторону винтовку и сказал отрешенно:

– Все! Мне кишки продырявило...

Завалилась прогоревшая крыша.

Тюряпин на ощупь, в крошечной мгле, в дыму и гари, отловил за плечо Гервасия, крикнул ему:

– Шабашим! Счас мы с тобой начнем наружу выходить, понял ты меня?

– Сдаваться? – спросил Гервасий.

– Нам с тобой сдавать нечего, – зло усмехнулся, блеснул в темноте зубами Тюряпин.

– А чего тогда?

– Слушай меня внимательно.

– Угу.

– Я выхожу в дверь первый. Ты считай до двадцати, опосля вылетай следом. И сразу направо, за угол. Сложись колом и лети на заднице с обрыва. Даст бог, уцелеешь, не расшибешься...

– Подстрелят, кося, пока до обрыва-то добегу? – деловито поинтересовался Гervасий.

– Авось не успеют... Делай, как говорю!

Тюряпин сдвинул на ремне за спину две гранаты и так же деловито добавил:

– Доберешься до наших, скажешь: так, мол, и так, погиб красный боец Константин Афанасьевич Тюряпин за будущую сладкую и вольную жизнь...

Отбросил ногой кол, подпиравший дверь, широко распахнул ее и вышел вон.

И задышающийся от дыма и жары Гervасий видел в проеме, как ровным шагом пошел Тюряпин, надев на винтовку шапку, и смолкли выстрелы.

Тюряпин, остановился, воткнул винтовку стволом в снег и стал вольно, сложив руки за спиной. Для полного шика только сигарки не хватало.

Поднялись в рост белые из-за сугробов и пошли к нему быстрым шагом, побежали. И Гervасий вынырнул в этот момент наружу.

Кто-то сипло крикнул:

– Вон еще один краснопузый вылез остудиться!

– Беги, беги, пацан! – громко заорал Тюряпин и бросил

под ноги – между собою и подступившими почти вплотную белыми – две гранаты.

Ослепительный красно-синий шар вспух на этом месте, отбросил Гервасия к углу избы, вышиб дух.

Но в следующий миг он уже вскочил на ноги, промчался спасительные несколько метров и бросился, не глядя, в бездонный снежный провал...

«Может, это и есть конец света?» – подумал Миллер, когда машины въехали в порт. Тысячи людей обезумели. Ими владела одна страсть, одна всеобъемлющая цель гнала их по забитым причалам в узких выщербленных проходах между складами, пакгаузами, мастерскими – прорваться любой ценой на уходящие суда.

Испуганные, дико всхрапывающие лошади, рвущиеся из постромков, перевернутые телеги, еще дымящие полевые кухни, разбитые снарядные ящики, брошенные орудия, валяющееся, уже никому не нужное оружие, разграбленные контейнеры, потерявшие хозяев собаки, растоптанные кофры и чемоданы, толпа с узлами, общий гам и крик, перекошенные в сумасшедшем ужасе лица.

И все это освещено багровым пляшущим светом пылающих на другой стороне Двины складов, дровяных бирж, лесопильных заводов.

И как знак окончательной всеобщей потери рассудка – висящий на стропях подъемного крана рояль. Черный концерт-

ный рояль.

– Майна! – закричали снизу, и крановщик, то ли по неопытности, а может быть, нарочно, освободил стропы, и рояль рухнул наземь, прямо в толпу, взметнув в низкое страшное небо столб хруста, звона и звериного жуткого вопля сотен несчастных...

У трапа ледокола «Минин» выстроилась в каре офицерская рота с направленными на толпу штыками и расчехленным пулеметом.

– Нельзя!.. Нельзя!.. – хрипел сорвавший голос начальник охраны. – Никому нельзя, здесь только штаб!..

Женщина в белой медицинской косынке с красным крестом кричала:

– Хоть раненых заберите!.. И женщин... Что ж вы делаете, красные их всех перебьют!..

Женщину отпихнули, и сразу же унес ее куда-то в сторону поток других наседающих на цепь штыков людей в котелках, шубах, шинелях.

Миллер медленно, как тяжелобольной, прошел по трапу, тонко пружинившему под ногами, и услышал за спиной голос Марушевского:

– Поднимите трап над пристанью! Они сомнут оцепление и ворвутся сюда...

Палуба подрагивала от сдержанного усердия работавшей на холостых оборотах машины ледокола. В этом было что-то успокаивающее.

Капитан доложил десятиминутную готовность. Миллер устало кивнул и пошел вдоль юта, держась для уверенности за металлический леер. Он не мог оторвать взгляда от беснующейся, обреченно давящейся на пирсе толпы. Как же это случилось? Ведь еще недавно казалось, что до победы осталось совсем мало?..

Вернее сказать, полгода назад так совсем не казалось. Особенно когда союзники стали отзывать свои войска. Это была с их стороны первая ужасная, можно уверенно сказать – роковая, гадость. Это позорное малодушие западных людей, не привыкших к трудностям. Они привыкли взваливать на нас самое тяжелое.

Еще в прошлом сентябре они всячески уговаривали оставить Север и перебросить всю северную армию к Деникину, на юг России.

Но это же – с военной точки зрения – была совершеннейшая глупость!

И вообще, с какой стати ему было идти в подчинение к Деникину? Конечно, в отличие от тупого солдафона Юденича, можно считать Антона Ивановича вполне приличным человеком и даже военным неплохим. Но ни из чего не следует, что ему, генерального штаба генерал-лейтенанту Миллеру, интеллигенту, ученому, опытному стратегу, надо идти в подчинение к заурядному армейскому генералу только из-за слабодушия англичан, их неверности обязательствам и временных тактических просчетов на фронте.

И сколько он ни доказывал на срочно собранном совещании кадрового офицерства, что неразумно сворачивать северный театр военных действий только для пополнения деникинской армии, — большинство все равно настаивало на эвакуации.

И, не имея ни в ком поддержки и опоры, вынужден был Миллер согласиться на отвод войск и переброску их на юг.

Все это было глупость и гадость.

Двух недель не прошло, как убедились в его правоте. Тяжело раскатываясь поначалу, двинулся вскоре стремительными прорывами Деникин на Москву — корпусами Мамонтова и Шкуро. Вновь заполоскался трехцветный флаг уже в Орле.

И этот противный бульдог Юденич круто обложил Петроград, будто клешнями сдавил.

Дни считанные до штурма остались.

Всего ничего, четыре месяца назад! Приказал твердо, без колебаний, ни с кем уже не совещаясь, командующий Северным фронтом Миллер развернуть вспять эвакуационные колонны — удар на железнодорожном направлении, взять узловую станцию Плесецкую, захватить Онегу, очистить от красной заразы весь Шуньгский полуостров.

В канун Покрова вошли первые разъезды в пустынный Петрозаводск.

И откатились красные, попрятались партизаны по глухим скитам, скрылись в заброшенных медвежьих углах, таежных

поселениях.

И хоть ясно было – сочтены дни Совдепии, конец ей приходит, со всех четырех сторон сжали, не встать ей, не вздохнуть, не охнуть, – грызла сердце тайная досада, горьким налетом на губы садилась: не ему быть нареченну спасителем святой Руси.

И себе признаваться не хотел, а сдержать в душе зависть, укротить черное злое чувство никак не мог. Антон Иванович Деникин, толстомясый, косноязычный, мужиковатый, освободит колыбель российского самодержавия, белокаменную Москву.

И бульдог Юденич займет столицу великой империи – Петроград.

И верховному правителю Колчаку и так карты в руки.

А ему, Миллеру, будут отведены третьи роли.

Сейчас и вспоминать о тех горестных маленьких мыслях неохота. Деникин отброшен на юг, да и отстранен от дел, по существу, там теперь заправляет Врангель.

Юденич прячется среди чухны.

А Колчак арестован и две недели назад расстрелян.

Расстрелян! Господи, твоя воля! Адмирал, верховный главнокомандующий! Когда-то Миллер не любил Колчака за английское высокомерие, спесь, любовь похвастаться своей славой путешественника, ученого и храброго военного. Но представить себе такое!..

Миллер поднялся на мостик, прислушался к нарастающе-

му грохоту стрельбы у вокзала. Пронзительно завыл над головой снаряд, и сразу же недалеко от борта взметнулся султан воды и битого льда.

Оглушительно заголосила толпа на пристани, и из этого вопля отчетливо доносились слова:

– Красные!.. Кра-асные... В город входя-ят!.. В го-о-род!

Миллер повернулся к капитану, негромко скомандовал:

– Все. Отваливайте от причала.

Капитан смущенно прокашлялся:

– Господин Чаплицкий еще не прибыл, ваше высокопревосходительство...

Миллер аккуратно протер запотевшие стеклышки пенсне и строго сказал:

– Не превращайте временное отступление в бегство, милостивый государь. Господин Чаплицкий на своем посту. Отваливайте. И дайте в Мурманск радио, чтобы за арьергардом вышел миноносец «Юрасовский».

– На «Юрасовском» разбежалась почти вся команда. Остались одни офицеры, – мрачно доложил капитан. – Я ведь только вчера пришел из Мурманска...

– Молчать! – рявкнул командующий. – Прекратите сеять панику! Выполняйте приказ!

– Есть...

Капитан отошел к машинному телеграфу и со злостью рванул ручки: левой – малый назад, правой – малый вперед. Скомандовал:

– На баке! Отдать носовой! Руль – право, три четверти!..

Высокий нос ледокола стал медленно отползать от бревенчатого пирса. Гора коричневатой-серой воды закипела под кормой, с шумом взлетела на пристань...

Грузовик замер у самой кромки причала, и офицеры, прыгав из кузова, растерянно смотрели вслед выходящему на фарватер ледоколу.

Дым из труб ложился на битый лед, на воду в полыньях серыми мятыми кругами, стелился за кормой, и Чаплицкий болезненно-остро вспомнил дым из-под крыши избы и мелькающие тени в черных провалах окон.

«Все это ужасно глупо, – вяло думал он. – Сумасшедший дом. А может быть, ничего этого и вовсе нет? Может быть, я давным-давно заболел, сошел с ума и мне все это видится в болезненных грезах воспаленного сознания?»

Но в памяти все еще стоял острый запах горелого человеческого мяса, и Севрюков рядом говорил с недоумением:

– Эть, суки!.. Бросили ведь, ась?.. Эт-та ж надо?! Чего же делать теперь, ась?..

Чаплицкий вымученно усмехнулся:

– Испробовать милосердие большевичков. И дворян иерусалимских...

– Ну-у, эт-та уж хрена им в сумку! – заорал, выпучив глаза, Севрюков. – Пробиваться надо, вот что, к своим. Вы с нами, господин каперанг?

Чаплицкий покачал головой:

– Да нет уж, господин Севрюков. Ступайте... с Богом. А я как-нибудь сам попробую...

Командарм Самойло вдел ногу в стремя и неожиданно легко бросил в седло крепкое, плотно сбитое тело. И, сильно сжав коленями спину заходившего под ним бойкого каурого жеребца, вдруг почувствовал себя молодым и счастливым.

Париж стоил покаявшемуся королю мессы, а уж Архангельск наверняка стоил для боевого генерала прожитой и так круто измененной, сломанной, наново прочувствованной судьбы.

Самойло вспомнил – без какой-либо видимой связи, – что еще два года назад в Бресте, во время мирных переговоров с немцами, его бывший однокашник и сослуживец генерал Скалон долго и сосредоточенно наблюдал, как Самойло аккуратно спарывает маникюрными ножницами лампасы с форменных брюк, а потом затравленно спросил:

– И ты... вот так... сможешь выйти на люди?

– Конечно! – засмеялся Самойло. – В лампасах без брюк ходить неудобно. А в брюках без лампасов – ничего, вполне допустимо...

– Но ведь это позор! – крикнул Скалон.

– Позор для военного человека – не выполнять приказы, – серьезно сказал Самойло, – а новое правительство в приказном порядке отменило наши с тобой звания, погоны, орде-

на и лампы. Теперь, наверное, знаков отличия по-другому надо добиваться...

– Это не правительство, это не власть! Это шайка бунтовщиков и демагогов!

– А кабинет Протопопова и Сухомлинова – это правительство? А наш отказавшийся от престола монарх и немый конокрад Гришка – это власть?

– Боже мой, Боже мой! – схватился за голову Скалон. – Немцы сейчас оторвут от нас полстраны, остальное уничтожат большевики. Скажи, что нам делать? Что делать?!

– Служить.

– Кому?

– России. Отечеству. Мы с тобой солдаты, у нас одна работа – защищать родину.

– Нет, нет, не-ет! – затряс кулаками Скалон. – Не могу больше, это все, все! Конец, не могу так жить больше!..

Выбежал из комнаты, дробно простучал каблуками по коридору гостиницы, вошел в свой номер, не закрывая двери, достал из кобуры револьвер и выстрелил себе в висок...

Самойло посмотрел на тысячеголовое людское море, волнами катившее от станции под расчерченным красными пятнами знамен низким серым небом, и грустно усмехнулся: довольно странно выглядели бы сейчас лампы на его толстых штанах нерпичьей кожи!

Эх, господи, сколько же в людях глупости, амбиций, предрассудков, которые для красоты и самооправдания называют

традициями, убеждениями, представлениями. Долгом.

А долг-то перед Россией у них был один – вернуть ей Архангельск, северный порог большого дома Родины.

И низкий поклон судьбе, сердечное спасибо жизни, что довелось все это выстрадать, вынести, претерпеть. И победить.

Войти в этот старинный город, пинком вышвырнуть всю нечисть за дверь, которая столько веков соединяла Русь со всем остальным миром.

Войти с победоносной армией, которой ты бессменно командовал – от дня сегодняшнего счастья до тех уже незапамятно далеких дней поражений, отступлений, таких тяжелых потерь, почти полного разгрома, преодоленного в муках, боли и смерти и повернувшегося вчера окончательной победой.

Армия-победительница входила в Архангельск: от станции железной дороги катил поток по улицам города, маршировали, перебравшись через разломанный лед Маймаксы, батальоны от Новодвинска, и мягко ступали охотничьи отряды от Неноксы и Няндомы, шел Холмогорский дивизион, вразвалку топала матросская пулеметная команда, четко печатали шаг бойцы непобедимого Шенкурского полка.

Шли победители – в истертых шинелях, прожженных у костров, в порыжелых бушлатах, зипунах, заношенных азиях, изодранных тулупах, затерханных городских пальтиш-

ках. В валенках, чунях, подвязанных веревками сапогах, ботах-«котах» и вечных самонадежных лаптях.

Армия заканчивала свою огромную изнурительную войну. Армия шла по запущенному, занесенному сугробами Троицкому проспекту, мимо некогда богатой и нарядной Немецкой слободы, мимо полусожженного здания Думы, мимо кафедрального собора – одного из самых красивых и светлых соборов России.

Армия шла по берегу Северной Двины, мимо парадного памятника Петру Первому.

Царь-плотник, неутомимый устроитель земли своей, стоял, вглядываясь в недалекое Белое море, торжественный, в орденской ленте, при звезде, перчатка за поясом, в руке подзорная труба.

Самойло остановил лошадь около памятника, долго смотрел на Петра, потом с сомнением покачал головой: вряд ли видела архангельская земля своего неутомимого царя в таком наряде. Он всегда приезжал сюда в трудные времена, и всегда для тяжелой работы и для очень непростых решений.

Ах, какие сложные отношения были у Петра с этим замечательным русским городом – единственными в те времена воротами в мир!

Тугой петлей сдавили турки горло русской торговли на Босфоре – нет дороги на Черноморье.

Шведы намертво заступили все пути на запад с балтийских берегов.

Один морской тракт на широкие просторы Атлантики – из маленького поселения Архангельск, еще поморами освоенный: через Белое море, вокруг Скандинавии.

И ведь должен быть – наверняка существует! – проход к сонному Китаю и полуденной Индии через Студеный океан.

Потому повелевает царь купцу Баженину закладывать на Соломбале верфь для устройства больших кораблей. И самолично дарует сертификат на строительство морских судов торговым людям Бармину, Амосову и Пругавину.

И сам на стапеле орудует: не подозрная труба в руках, а рейсмус и топор. Да уж не в адмиральском мундире с лентой, при орденах, а в пропотевшей заскорузлой робе!

И маленький городок, единственный океанский порт поднимающейся к мировому соучастию Руси, обласканный царской любовью и милостью, окрыленный его имперской надеждой, гордый открывшимися видами безбрежных просторов, восстает к бурной деятельности. К своей завтрашней славе.

Как неукротимо растет морской форпост! В тот первый царский приезд посетили Архангельск сорок иностранных судов. А два десятилетия спустя архангельские лоцманы вывели за створы двести пятьдесят вымпелов! На миллионы золотых рублей поплыли во весь свет русские меха, строевой лес, лен, корабельные доски, хлеб, кудель, смола, сало...

Будто добрая работающая жена при рачительном заботливом муже, расцветала база российской торговли, крепко тру-

дьясь и сладко нежась в ласке и внимании своего великого государя.

И не чувствовала, не знала, что на топких, пустынных берегах реки Невы уже появилась новая, вечная, окончательная, на всю жизнь, привязанность Петра. Молодая столица Санкт-Петербург.

Не сильно рвались торговые люди менять уже ставший привычным путь из Архангельска в мир.

Мощь и слава новой столицы пока еще государю только мнятся, а сегодня покамест жить в новом городе и торговать оттуда затруднительно: сыро, тесно, хлопотно, да и профита делового нет – все равно скандинавские проливы перекрыты свейскими кораблями ратными, выхода с Балтики не имеется.

Царь манит, уговаривает, сулит, приказывает, повелевает и на хитрости купеческие обрушивает тяжелую десницу монаршей воли.

Да и обычного человеческого гнева: запретить впредь строить в Архангельске океанские корабли, а ввоз в город дозволяется лишь в пределах товаров, самому городу для потребления потребных!

И предписывает неукоснительно пробиваться из Архангельска на восток и на север.

На запад у нас есть другие ворота – славный град столичный Петербург...

Два века ушли, и снова молодая Россия смотрела на Ар-

хангельск, как некогда юный царь, с надеждой, любовью и верой.

Отвоеванный сегодняшней ночью город-порт был единственными воротами в мир.

Широкими веселыми шагами мерил командарм Самойло небольшую комнату аппаратной, звонким голосом, не заглядывая в бумажку, которая была у него в руках, диктовал телеграфисту:

РЕВВОЕНСОВЕТУ РЕСПУБЛИКИ.

ДВАДЦАТОГО ФЕВРАЛЯ ВОССТАНИЕ ОХВАТИЛО ВСЮ БЕЛУЮ АРМИЮ. В АРХАНГЕЛЬСКЕ УЖЕ ПРОИЗОШЕЛ ПЕРЕВОРОТ, ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ БЕЛЫХ ВОЙСК ГЕНЕРАЛ МИЛЛЕР БЕЖАЛ МОРЕМ НА ЛЕДОКОЛЕ, ВЛАСТЬ В ГОРОДЕ ПЕРЕШЛА В РУКИ РЕВОЛЮЦИОННОГО КОМИТЕТА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗОВ.

ПЕРВЫЙ КРАСНЫЙ ЭШЕЛОН, ВСЮДУ ТОРЖЕСТВЕННО ВСТРЕЧАЕМЫЙ ВОССТАВШИМИ, ПОДЪЕХАЛ В ОДИН ЧАС ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ФЕВРАЛЯ ТЫСЯЧА ДЕВЯТЬСОТ ДВАДЦАТОГО ГОДА К СТАНЦИИ АРХАНГЕЛЬСК.

МОРЕ ЛЮДСКИХ ГОЛОВ, ТУЧИ КРАСНЫХ ЗНАМЕН, ГРОМ ОРКЕСТРОВ И ЗВУКИ ПРИВЕТСТВЕННЫХ РЕЧЕЙ ВСТРЕТИЛИ ПЕРВЫХ КРАСНЫХ СОЛ-

ДАТ, ОСВОБОДИТЕЛЕЙ СЕВЕРА ОТ АНТАНТСКОГО И БЕЛОГВАРДЕЙСКОГО ИГА.

НЕИМОВЕРНЫЕ ТЯГОТЫ ВОЙНЫ НА СУРОВОМ СЕВЕРЕ БЫЛИ ПОЗАДИ, СЕВЕР БЫЛ ЗАВОЕВАН ДЛЯ МИРНОЙ ЖИЗНИ, И АРХАНГЕЛЬСК, БАЗА АНГЛИЙСКОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ, СДЕЛАЛСЯ НАВЕКИ КРАСНЫМ ГОРОДОМ.

ЗА ВРЕМЯ ПРЕБЫВАНИЯ НА СЕВЕРНОМ ФРОНТЕ ПОЛКИ, ПОСЛЕ РЯДА УПОРНЫХ БОЕВ И ГРОМАДНЫХ ПОТЕРЬ, ПОСЛЕ НЕВЕРОЯТНЫХ ИСПЫТАНИЙ В БОЛОТАХ И ЛЕСАХ СУРОВОГО СЕВЕРА, ПОТЕРЯВ В БОЯХ ЛУЧШИХ ТОВАРИЩЕЙ, ДВАДЦАТЬ ПЕРВОГО ФЕВРАЛЯ ДОБИЛИСЬ ОКОНЧАТЕЛЬНОЙ ПОБЕДЫ И ТОРЖЕСТВА КРАСНОЙ ПЯТИУГОЛЬНОЙ ТРУДОВОЙ ЗВЕЗДЫ НАД БЕЛОГВАРДЕЙСКИМ ОРЛОМ СЕВЕРА...

Паровоз тонко, пронзительно-обессиленно засвистел, пустил вялые усы пара по сторонам и окончательно стал.

Казалось, нет больше в мире сил, способных стронуть его с места у платформы Николаевского вокзала. Двое суток, исходя от натуги, он тянул разболтанный, изношенный, дребезжащий эшелон из Петрограда в Москву, останавливаясь через каждые полсотни верст, и тогда все пассажиры выходили из вагонов и рубили дрова для прожорливой топки слабосильной, сипящей от усердия и старости «овечки».

Холод, вонь, толчея в вагонах не дали Шестакову со-

мкнуть глаз. И еще он боялся, что у него украдут посылку. Своих вещей у него не было, но, как большинство нынешних пассажиров, битком набивших чуть живые поезда бесконечных железных дорог, он вез посылку.

Разбросанные по всей России люди из своих жалких возможностей немислимыми усилиями наскребали что-нибудь съестное и слали с оказией друг другу посылки. Это называлось «живой привет».

Узнав, что Шестакова вызывают в Москву, Васька Преображенский – старый товарищ по Данцигскому набегу, отчаянный моряк, верный друг, – стесняясь, шутиливо извиняясь, всучил ему таки посылку для матери: мешочек, а в нем бутылка хлопкового масла, три вяленых трески и десять фунтов овса. Овес, сказал Васька, ежели его смолоть на ручной кофейной мельнице и блины испечь – пальчики оближешь!

Еще не облизанными пальчиками Шестаков всю дорогу держал мешок, тихо чертыхаясь на Ваську: оставить вещи нельзя было ни на минуту, иначе маме Преображенской уже никогда бы не пришлось облизывать пальчики после сыновних блинов. Поезда кишели ворами, как вшами.

Уже вечерело, когда Шестаков вышел на привокзальную площадь. Воспаленный багровый круг солнца, полыхнув на золоченом шпиле Казанского вокзала, провалился в клубящиеся облака. Крепко закручивал мороз.

Блеклое небо было выжжено стужей, лениво расчерчено серыми мазками облаков, постепенно наливавшихся сирене-

выми, потом фиолетовыми тонами.

Шестаков торопливо шел в сторону Домниковки, почти бежал, но вечер неспешно и властно настигал его.

Белесый холодный пар полз по крышам, а небо наливалось густотой тьмы, все сильнее собиравшейся к зениту.

Мать Преображенского жила в районе Сухаревки, недалеко от Сретенки. Васька так и объяснял: «Это ж тебе просто по пути, ее дом почти что на полдороге между вокзалом и „Метрополем“, где сейчас Второй Дом Советов, а транспорт в Москве все равно никакой не действует».

В этом Васька оказался прав: транспорта не было никакого. Безлюдье, холодно и пусто. Лишь под вывеской «Товарищество Эмиль Циндель» длинная очередь за хлебом – сегодня обещали выдать по полфунта на работающего.

Шестаков отвлекал себя от голода и усталости размышлениями о причине срочного вызова в Москву.

Вообще-то говоря, он был уверен, что его направят на юг, там сейчас будут решаться военные судьбы Республики. С падением белого Архангельска наступила наконец передышка в не прекращающейся вот уже два года Гражданской войне.

Но в Крыму засел Врангель, и с юго-запада нависают дивизии белополяков. Хотя поляки до весны вряд ли полезут. А наступать на Врангеля, имея обнаженный западный фланг, просто немыслимо.

Наверняка Шестакова бросят сейчас в Таврию: еще в этом

году схватимся с врангелевцами на крымском перешейке!

Но почему его вызвали к Красину? Красин военными делами не занимается, он хозяйственник. Правда, сейчас партия дала установку, что бескровный фронт – хозяйственный фронт – и есть главная линия сражения.

Вон через весь фасад магазина Бландова вывешен плакат:

ТРИ ВРАГА БЫЛИ: КОЛЧАК, ДЕНИКИН,
ЮДЕНИЧ.

ТРИ ВРАГА ОСТАЛИСЬ: ГОЛОД, ХОЛОД, ТИФ.
ТЕХ ПОБЕДИЛ КРАСНЫЙ ШТЫК.
ЭТИХ ПОБЕДИТ КРАСНЫЙ ТРУД.

«Но ко мне-то какое это имеет отношение? Я ведь солдат, – думал Шестаков. – Ладно, надо быстрее разыскать старушку Преображенскую, передать „живой привет“ и торопиться к Красину. Через пару часов будет все известно».

Мела поземка, сырой промозглый ветерок забирался под полы шинели, за воротник, вызывая тоскливый озноб во всем теле. Нет, не радовала заледенелая февральская Москва тысяча девятьсот двадцатого года, хотя полинявшие рекламы на крышах и торцах домов еще гремели, уговаривая пить коньяк Сараджева, курить папиросы из гильз Катук, предлагали подсластить жизнь конфетами Жоржа Бормана, делать вклады в «Соединенный банк».

А над фронтоном Большого театра выюга трепала красное полотнище: «БОРЬБА ЗА ХЛЕБ – БОРЬБА ЗА СОЦИАЛИЗМ!»

Шестаков грустно покачал головой, вспомнив нескончаемые безнадежные очереди у булочных, на дверях которых белели сообщения Московской чрезвычайной комиссии о расстрелах хлебных спекулянтов.

Хлеба не было.

И другого продовольствия не было, и топлива не хватало, заводы и фабрики стояли.

Шестаков взглянул на часы, вздохнул: до назначенной ему встречи оставалось еще полтора часа. Он поднялся по Мясницкой, бульваром дошел до Сретенки, направляясь к знаменитой Сухаревке, где жила мать Васьки Преображенского. Посылку надо было передать в первую очередь.

В Печатниковом переулке, узеньком, худо освещенном, навстречу ему шагнула от парадного нарядно одетая женщина.

В слабом отсвете фонаря Шестаков разглядел грубо раскрашенное, хотя и красивое лицо.

Женщина игриво сказала:

– Капитан, не угостите ли даму папироской?

Шестаков кивнул, достал из кармана портсигар, раскрыл его, с холодноватой любезностью протянул женщине. Не без интереса всмотрелся в нее.

Женщина призывно улыбнулась ярко-красными капризными губами и потянула портсигар к себе, легко кивнув в сторону дома:

– Вы не спешите, капитан? Маленькая уютная берлога. И

тепло...

Шестаков вежливо улыбнулся в ответ, пожал плечами, отрицательно покачал головой. Он не заметил, как из подворотни появились двое угрюмого вида парней, подошли к нему сзади.

Один дернул его за руку, сказал грубо:

– Ты чего пристаешь?..

Шестаков обернулся и увидел мгновенный отблеск света на лезвии финки в руке другого – низкорослого, с темным и хмурым лицом.

Первый подтолкнул Шестакова плечом в сторону подворотни.

Шестаков уперся и, быстро взглянув на женщину, сказал укоризненно:

– Эх вы-ы... Ай-яй-яй!.. – и, неожиданно вырвав из ее рук тяжелый портсигар, ударил им по голове того, что держал нож. Тот пошатнулся, но второй грабитель в ту же секунду прямо из кармана выстрелил в Шестакова. Шестаков успел нанести ему сокрушительный ответный удар ногой, но не удержался и упал.

Бог весть чем бы кончилось это обычное по тем временам происшествие, если бы из парадного напротив не появился дюжий дворник в белом фартуке. Выпучив глаза, он изо всех сил принялся свистеть в полицейский свисток, и грабители вместе с женщиной побежали в сторону Трубной.

Шестаков с недоумением посмотрел на кровь, показавшу-

юся на его рукаве, махнул рукой дворнику и вскочил на ноги. От Сретенки послышался гулкий топот бегущего к месту происшествия милиционера, который быстро сообразил, в чем дело, и они втроем бросились за налетчиками, но их и след простыл: деревянные заборы, разделявшие когда-то дома и дворы Печатникова, давным-давно пошли на дрова, и скрыться в лабиринте маленьких домишек старого переуллка было пустяковым делом.

Пуля, к счастью, только царапнула руку Шестакова, и, наскоро перевязав ее в ближайшей аптеке на Сретенке, он успел на Театральную площадь – на аудиенцию к наркому Республики Леониду Борисовичу Красину.

«Живой привет» – будущие овсяные блины, от которых все пальчики оближешь, – Шестаков стыдливо припрятал под шинелью на вешалке в приемной наркома.

Леонид Борисович стоял у окна в своей излюбленной позе – руки за спиной, плечи чуть нахочлены – и смотрел на Театральную площадь. Прямо перед ним, через весь торец здания Малого театра, алел огромный лозунг:

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА! ВСЕ НА РАЗГРОМ ВРАГА!»

Нарком ужинал. Он смотрел в окно и ел краюху черного сыроватого хлеба, круто посыпанную солью. На столе дымилась паром большая фарфоровая чашка с чаем.

С утра ничего не ел, а вообще-то есть и не хотелось. Сил нет. Устал. Гудит тяжело в затылке и противно теснит в груди, тонко жжет за грудиной.

И даже вчерашняя огромная победа на Совнаркоме не радовала – сегодня уже занимали и беспокоили новые проблемы...

А вчера Совет народных комиссаров окончательно принял представленные им, Красиным, тезисы по внешней торговле. Четыре раза за последние три недели собирался по этому вопросу Совнарком, и только при поддержке Ленина удалось утвердить резолюцию об основных принципах монопольной внешней торговли молодой Советской Республики.

А в перерывах между заседаниями Совнаркома – государственный визит в буржуазную Эстонию, мучительно-напряженные переговоры и вырванный у них мирный договор, договор гарантированный, надежный, без лазеек для обмана и вероломства.

И непрерывный поток документов и посетителей.

Член Реввоенсовета Республики. Народный комиссар путей сообщения. Народный комиссар внешней торговли. Нарком торговли и промышленности. Председатель Чрезвычайной комиссии по снабжению Красной армии. Член Совета обороны.

Бесконечный список дел.

Переговоры с немцами...

Хлеб в Поволжье...

Выяснить вопрос о посылке делегации в Финляндию...

Хлеб с Украины...

Наказать военных, самоуправничающих на оружейном за-

воде в Ижевске...

Хлеб.

Сколько можно подготовить в текущем месяце автомобилей для нужд армии?..

Хлеб.

Вопрос о броневиках...

Нерабочий паек – сто тридцать три грамма хлеба.

Затребовать сведения о выпуске винтовок...

В Москве непригодна для жилья половина квартир...

Продовольственный фонд на исходе...

Запас муки в столице – на семь дней.

Из подвижного трамвайного состава действующих сорок шесть вагонов...

Хлеб... Хлеб... Хлеб.

Что делать? Как накормить миллионы голодных ртов? Ведь им ждать некогда!

Антанта трещит. Месяц назад верховный совет Антанты с зубовным скрежетом и сердечными стенаниями вынужден был под нажимом своего пролетариата и собственных экономических обстоятельств согласиться на торговлю с Россией.

Конечно, не с Советским правительством, а с кооперативными учреждениями, но это все равно прорыв в непроходимой ранее стене блокады, торгового ошейника, которым хотели задушить Республику.

Ничего, ничего, мы еще посмотрим. Мы еще с вами, господа, повозимся всерьез!

Секретарь приоткрыл дверь:

– Леонид Борисович, к вам Шестаков.

Красин промокнул салфеткой губы, кивнул:

– Просите! Жду с нетерпением...

И пока Шестаков еще не вошел, аккуратно завернул остаток хлеба в чистый лист бумаги, спрятал в стол.

Дверь снова открылась – в кабинет вошел высокий военмор, левую руку он осторожно нес на перевязи.

Красин шагнул ему навстречу:

– Здравствуйте, Николай Павлович! Рад с вами познакомиться! О вас очень хорошо отзывались Дыбенко и Кедров.

Шестаков сдержанно улыбнулся:

– Спасибо...

Красин приветливо дотронулся до его плеча:

– Они, собственно, и были инициаторами нашей встречи.

А что с вашей рукой?

Шестаков улыбнулся:

– Да ничего серьезного. Пустыковая царапина, через пару дней заживет.

– Ну, прекрасно. Потому что Кедров рекомендовал вас руководителем одного очень ответственного дела, которое тут у нас затевается... – Красин принялся листать лежавшую у него на столе докладную записку.

Шестаков осмотрелся. Кабинет, он же личная квартира члена Реввоенсовета Республики, народного комиссара

внешней торговли и путей сообщения, был невелик: двухкомнатный номер Второго Дома Советов – бывшей гостиницы «Метрополь». Увешанные картами стены, длинные столы с теми же картами и папками бумаг, худосочные венские стулья, протертый диван. Через открытую дверь во вторую комнату была видна железная койка, застеленная солдатским одеялом.

– Я представлял вас гораздо старше, – сказал Красин, отрываясь от записки.

Шестаков ответил очень серьезно:

– К сожалению, этот мой недостаток обязательно пройдет, Леонид Борисович.

– Вам лет двадцать пять?

– Двадцать шесть.

– Ах, дорогой Николай Павлович, как я вам завидую! – сказал Красин искренне, и мягкие бархатные глаза его увлажнились. – Я вас почти вдвое старше, мы ведь ровесники с Владимиром Ильичом...

Шестаков покачал головой:

– Вам грех жаловаться, Леонид Борисович, вы, как говорится, в возрасте «акме».

Красин рассмеялся:

– Возраст расцвета? Вообще-то, конечно. И я не жалею, просто хочется успеть побольше – и повоевать, и поработать, и поторговать. А если совсем честно – пожить хорошо ух как охота! Но, увы, пока недосуг...

Красин жестом пригласил Шестакова сесть около стола, вернулся на свое место.

– Чаю хотите?

– С удовольствием, – просто согласился Шестаков. – Замерз основательно по дороге к вам.

Секретарь принес Шестакову большую чашку с горячим чаем. Моряк с видимым удовольствием охватил ее рукой, стал греть ладонь.

Красин прихлебнул из своей чашки, отставил ее в сторону:

– А теперь, Николай Павлович, я бы попросил вас рассказать о себе, хотя бы в нескольких словах.

– Попробую, – сказал Шестаков и, не удержавшись от искушения, сделал несколько маленьких торопливых глотков. Чай был крепкий, настоящий. – Я из Сибири, отец мой – рабочий. Грамоту он узнал самоуком, но меня отправил учиться в Томск. Окончил училище с медалью...

– Вы там и познакомились со ссыльными социал-демократами? – осведомился Красин.

– Да. Именно с их явками и связями я прибыл в Петербург. Поступил в Технологический, работал по заданию комитета со студентами и рабочими.

– В партию уже в Петербурге вступили?

– В тринадцатом году. А летом четырнадцатого комитет решил меня направить на фронт – для ведения работы среди моряков.

– Вольноопределяющимся?

– Почти. Мне ведь пришлось уйти со второго курса. Вот я и поступил в юнкера флота.

– И как служилось?

Шестаков улыбнулся:

– Карьера у меня получилась стремительная. В тысяча девятьсот пятнадцатом году произвели в мичманы, служить направили в минную дивизию. В шестнадцатом за набег на Данциг наградили орденом Станислава, а за бой на дредноуте «Слава» – я там был уже лейтенантом – пожалован Владимиром.

Красин заглянул в записку, лежавшую на столе, спросил:

– Вы ведь службу закончили – я имею в виду под Андреевским флагом – старшим лейтенантом?

Шестаков подтвердил:

– Так точно, сведения у вас верные. Но произвели меня уже в январе семнадцатого, вместе с назначением командиром минного дивизиона... А в октябре по приказу Центробалта привел свой дивизион в Петроград. Участвовал со своими орлами в штурме Зимнего.

Красин допил чай, поднялся, сказал весело:

– Ну а в составе Красного флота – ледовый поход из Гельсингфорса в Кронштадт, потом – сухопутная война, орден Красного Знамени и Почетное революционное оружие. Прекрасно, Николай Павлович. Именно вы мне и нужны!

Шестаков тоже встал:

– Слушаю, товарищ Красин.

– Вы – старый партиец, опытный моряк и военный человек. Для успеха вам необходимо именно такое сочетание достоинств. Поскольку я собираюсь поручить вам задачу, до сих пор считавшуюся невыполнимой.

– Я готов.

– Другого ответа и не ждал. Владимир Ильич Ленин поручил мне подготовить решение проблемы сибирского хлеба. Вы знакомы с этим вопросом?

– Очень общо.

Красин подвел Шестакова к географической карте Полярного бассейна, просторно развернувшейся от одного края стены до другого.

– Вот, взгляните, Николай Павлович, – устья Оби и Енисея. Здесь на сегодняшний день скопилось свыше миллиона пудов сибирского хлеба, большое количество соленого мяса, рыбы и других продуктов. А Республика умирает с голоду...

– Мне говорили, что в России сейчас стоят без движения двадцать пять или двадцать шесть железных дорог? – нерешительно перебил Шестаков.

– К сожалению, не двадцать пять, а все тридцать, – хмуро ответил Красин. – А на тех, что кое-как работают, в ходу не больше одной трети паровозов. Топлива нет, пути разрушены, мосты взорваны...

Он кивнул на карту железных дорог, поморщился:

– Тем не менее хлеб и остальные продукты с Оби и Енисея

мы должны доставить в Россию.

– Значит, через Ледовитый океан?

Красин ответил не сразу. Он подошел к окну, долго рассматривал на Малом театре лозунг «Всё для фронта! Все на разгром врага!», потом сказал твердо:

– Да, через Северный Ледовитый океан. Это поручение Владимира Ильича Ленина. Когда он выступал на сессии ВЦИКа, он заявил прямо: «На этой задаче нам надо сосредоточить все силы!»

Шестаков походил около карты Полярного бассейна, остановился, всматриваясь в голубые ленточки рек, в белесые пустынные просторы Ледовитого океана, в редкие кружочки населенных пунктов. Задумчиво произнес:

– М-да-те-с... Конечно, это было бы прекрасно... Но, к сожалению, боюсь, что нереально. Места-то – ох какие трудные! Гидрографических описаний почти нет, лоцмана – из поморов – разбежались.

– Надо собрать тех, что уцелели.

– Конечно. Но я слышал, этот хлебушек пытались вывезти англичане. Да обожглись: посадили несколько транспортов на мели, два или три парохода не успели обернуться – волны матерые вмерзли. Тем дело и кончилось.

– Все знаю, Николай Павлович. Больше того, знаю, что нет подходящего флота – его весь украли интервенты и белые. Нет угля и мазута, нет обученных экипажей...

– Знающих капитанов тоже нет, – подключился к этому

безрадостному перечислению Шестаков. – Просто не знаю, как быть, Леонид Борисович.

– Наверное, надо осознать, что это вопрос жизни и смерти. Известно, что эта задача до сих пор считалась невыполнимой. Но... успешно провести караван по-настоящему необходимо! – Красин интригующе воздел палец. – Это ведь не только важнейшая акция Советского правительства в области человеколюбия и экономики...

Шестаков удивленно посмотрел на него:

– А что же еще?

– Политика! Владимир Ильич надеется превратить экспедицию в серьезный политический таран против блокады.

– Политический? А каким образом?

Красин оживленно забегал по кабинету.

– Очень просто. Часть сибирского хлеба, а главным образом лес, смолу, меха, замшу, лен, мы выбросим на европейский рынок, чтобы купить машины, оборудование, мануфактуру и все такое прочее. Вот это, вместе взятое, и будет политической акцией.

Шестаков все не мог уразуметь идею.

– Как же так, Леонид Борисович? Ведь капиталисты отказываются торговать с нами?

Красин терпеливо разъяснил:

– Не капиталисты, а капиталистические правительства! Это разные вещи. Капиталистические правительства отказываются торговать с Советским правительством. Но масса от-

дельных капиталистов ну просто мечтает торговать с нами. Им все равно с кем, лишь бы профит был! И я придумал для них лазейку против их собственных законов и государственных установлений: они будут торговать не с Советским правительством, не с государством Советским, а с коммерческими учреждениями.

– Посредническая торговля! – догадался наконец Шестаков.

– Совершенно верно! И первым советским торговцем буду я. А вы должны обеспечить меня товарами. Через неделю я уезжаю в Европу, буду в Стокгольме, Копенгагене, Лондоне. Надеюсь, что тамошние промышленники и торгаши охотно забудут, что я народный комиссар и член Центрального комитета партии. Для них я – коммерческий представитель Центросоюза, в этом качестве они и будут меня принимать... надеюсь...

– Я вас понял, Леонид Борисович, – горячо сказал Шестаков. – Постараюсь сделать все от меня зависящее.

– И не зависящее тоже, дорогой мой Николай Павлович, – засмеялся Красин. – Иначе – помрем с голоду. Нам надо прокормить население и при этом любой ценой прорваться на мировой рынок. Вот у меня справка, взгляните...

Красин быстро подошел к столу, показал Шестакову бумагу.

– В прошлом году, в марте, в Мурманск прибыл английский пароход с товарами первой необходимости для населе-

ния на сумму миллион восемьсот пятьдесят тысяч рублей. Как вы думаете, за сколько эти товары распродали?

– Н-не знаю, – пожал плечами Шестаков.

– За три с половиной миллиона! – воскликнул Красин. – Сколько же еще мы будем давать себя грабить?

Шестаков согласно кивнул:

– Англичане – известные торгаши, с кого хочешь шкуру спустят и еще будут своими благодеяниями хвастать.

Красин спросил:

– Вы ведь командарма Самойло знаете?

– Ну как же! Я под его командованием служил.

– Так вот, он прислал мне сводку из Архангельска: интервенты захватили силой на пятьдесят миллионов рублей золотом народного добра – леса, льна, пеньки, сала, рыбы, мехов...

– Они же твердили, что только торгуют с Северным правительством!

– Черта с два! Особая статья – в порядке «торговли» с генералом Миллером они вывезли товаров еще на сто миллионов рублей. Вы только вдумайтесь в эту цифру: сто миллионов рублей золотом! – Глаза Красина разгорелись, он неистово жестикулировал, быстро расхаживая от стола к окну и обратно. – Хватит, пограбили! Нам самим надо прорываться на мировой рынок. А это, в первую очередь, зависит от успеха вашей экспедиции, Николай Павлович...

Красин подошел к Шестакову, обнял его.

– Ну и конечно, это хлеб сотням тысяч голодающих. Это нужные позарез нашему хозяйству машины, инструменты, потребительские товары. Если вы проведете в этом году караван, мы сделаем экспедиции в Карское море ежегодными! Северный морской путь, освоенный нами, должен стать рабочей дорогой Республики...

Шестаков вытянулся:

– Леонид Борисович, я готов хоть сегодня приступить к выполнению задания.

– Доброго вам пути, Николай Павлович. Из Стокгольма и Лондона я буду непрерывно держать с вами связь через Москву. Без вашего успеха наша миссия обречена.

– Мы привезем хлеб, чего бы это ни стоило, – твердо сказал Шестаков.

– Я понимаю, чего это может стоить. Жизни. – Красин нахмурился, развел руками: – Но у нас нет выхода. Давайте обнимемся на прощание.

Красин осторожно, чтобы не задеть раненую руку Шестакова, обхватил его за плечи, проводил к выходу, сказал задумчиво:

– А вы знаете, Николай Павлович, вот как бы ни было трудно, порою просто жутко, а все равно – в каждый миг, каждую минуту меня не покидает ощущение строительства истории...

Отрешенная неподвижность Неустроева мгновенно взры-

валась вспышками яростной увлеченности, и тогда он начал говорить – бурно, путано-длинно и все-таки прекрасно:

– Безжизненность Полярного бассейна – вздор! Трусливый вздор бескрылых людей! Жизнеспособности аборигенов мы можем только завидовать! Тысячелетия назад они вышли из недр Азии и расселились через далекий Север на Американском континенте. Для них остались неоткрытыми колесо и порох, и только банды Кортеса связали их снова с цивилизацией. Насилием! Болезнями! Спиртом!..

Шестаков сидел молча, курил махорку, слушал с интересом, иногда посмеиваясь про себя. Потом, чтобы подзадорить Неустроева, спросил:

– Может быть, в те времена иное было невозможно?

– Как невозможно?! – закричал, захлебнувшись возмущением, Неустроев. – Я заявляю вам твердо – а существо вопроса мне хорошо известно: пионеры российского открывательства, мореплаватели и купцы, никогда не осквернили памяти о себе теми злодеяниями, что совершались под эгидой католического креста!

– И купцы? – серьезно осведомился Шестаков.

– И купцы! Российско-американская компания, конечно, имела в первую очередь коммерческие цели, но и Шелихов, и Баранов строили на западном побережье Америки фабрики, школы и больницы. А конкистадорские банды, катившие с восточного побережья, уничтожали все живое на своем пути – народы, государства, целые цивилизации...

– У России был совсем иной путь, совсем иные задачи, – заметил Шестаков.

– Вот именно! Они были исторически иные, и я часто с мукою думаю, что сыны российские, взявшие на себя нечеловечески страшный труд освоения самых недоступных участков Земли – Арктики, Камчатки, Сибири, Алеутов, открытие Антарктиды, – все равно не пользовались должным престижем среди мореплавателей мира.

– А почему?

– Потому что, за исключением Петра, в нашей державе были очень серые государи, которые казенным бюрократам верили всегда больше, чем людям, бившимся за идею, а не за свою корысть...

Неустроев горько помотал головой и тихо добавил:

– Неверие и пренебрежение к своим талантам, как ржа, разъели российское общество. Возьмите хотя бы Литке. Ведь выдающийся был адмирал и мореход, по-настоящему образованный человек, а всего лишь полвека назад сказал, и заверил, и предписал: «У нас, у русских, еще нет такого моряка, который решился бы плыть морем в устье Енисея...»

– Может быть, поэтому мировая слава принадлежит конкистадорам и торговцам пряностями, а не Чирикову и Челюскину?

– И поэтому тоже... Да не в славе дело. Славу создавал блеск небывалого количества золота, хлынувшего в Европу, а не великие географические открытия.

Шестаков усмехнулся:

– Между прочим, мало кто знает, что испанское и португальское золото, награбленное во всем мире, не сделало эти страны ни богатыми, ни счастливыми. За следующие сто лет они пришли в полнейший экономический упадок...

– Не-ет, грабежом не проживешь, грабеж державу не богатит, – покачал головой Неустроев. – Богатство стране создают просветительство, труд, поиск новых путей, торговля.

Шестаков показал на большую фотографию Норденшельда с дарственной надписью Неустроеву:

– Вот он, когда впервые прошел Северным морским путем, не думал о грабеже, а думал о благе...

– Безусловно! Ошибка только в том, что по нашей российской беспамятности первопроходцем на Северном пути считают Эрика...

– Разве это не так?

Неустроев сказал сухо:

– Сейчас уже научно можно доказать, что поморы и казаки это делали еще в семнадцатом веке.

И тут же снова вспыхнул, загорелся, чуть ли не бегом промчался вдоль огромной карты Полярного бассейна, сердито ткнул в него сухой рукой:

– Вот, смотрите, весь этот гигантский труд совершили наши с вами земляки. Первыми, дошедшими до Тихого океана, были устюжане – Дежнев, Москвитин, Поярков, холмогорец Попов. У них была историческая необходимость для такого

подвига. Ощущение, так сказать, великой миссии России на северном океане.

– Вы имеете в виду разведку и освоение самых труднодоступных мест?

– Конечно! Им были суждены не тропические кущи Америки, а вечная стылость Арктики, Чукотки, Камчатки, Аляски.

– Да-а, другого пути в мир не было, – задумчиво сказал Шестаков.

– Вот именно! Татары веками перекрывали путь к теплым морям, шведы и немцы – к Балтике. И шли они со своей земли неродящей в огромный и бушующий мир через Ледовитый океан...

– Но ведь это было очень давно, – возразил Шестаков. – Сейчас, благодаря техническому прогрессу, существуют все возможности для реального освоения Заполярья, так что...

– Сам по себе технический прогресс для настоящего освоения Севера – ноль. Нужна возвышенная нравственная идея! – горячо перебил его Неустроев. – Такая идея вела братьев Лаптевых, Челюскина, Беринга...

– А как бы вы сами, Константин Петрович, сформулировали эту идею? – спросил Шестаков.

Неустроев испепеляюще полыхнул голубыми неистовыми глазами:

– Люди сильные должны раздать неслыханные богатства Севера людям слабым!

Шестаков смотрел на тщедушного, впалогрудого профессора, не скрывая любопытства.

– Давайте, Константин Петрович, попробуем вместе! – вдруг предложил он гидрологу.

Неустроев усмехнулся:

– Со мной?.. Пожалуйста! Но остальных людей экспедиции вы погубите.

– Не-а, – упрямо покачал головой Шестаков. – Мне нужен отряд сильных, знающих людей. С ними мы привезем голодающим самое главное богатство – хлеб...

– У нас нет судов, нет обученных экипажей, нет топлива! – снова взорвался Неустроев. – Не забывайте, что территория, прилегающая к Северному морскому пути, – это гигантский и довольно пустынный район протяженностью – ни много ни мало – семь тысяч километров! Если экспедиция не обернется за одну навигацию – все погибнут!

– Дорогой Константин Петрович, мы не можем не обернуться за одну навигацию. Иначе здесь погибнут десятки тысяч людей...

Неустроев грустно улыбнулся:

– Но ваше желание спасти их не может быть сильнее Арктики. Вы плавали в Полярном бассейне?

– Нет.

– В том-то и дело. Это самая неукротимая стихия на Земле. И она сломила многих энтузиастов.

Шестаков пожал плечами:

– Я не плавал в Полярном бассейне, но я брал Шенкурск. В сорокаградусный мороз, по снегу голодные люди волокли на себе пушки. И стихия не могла их сломить. И нас Арктика не ломает. С вами или без вас, но осенью хлеб будет в Архангельске...

– На чем же вы строите свою уверенность?

Шестаков расстегнул карман френча, достал сложенный вчетверо лист бумаги:

– Это телеграмма в Наркомпрод из Архангельского губернского исполкома. «Положение губернии отчаянное. Пять уездов абсолютно голодают. Запасы исчерпаны. Отступающие белогвадейцы вывезли остатки продовольствия. Неввоз хлеба Мурманск, Печору, Мезень грозит смертью...»

Неустроев взял в руки телеграмму, перечитал ее, грустно покачал головой.

Шестаков горячо продолжал:

– Мой долг моряка и большевика предписывает мне спасти голодающих или... погибнуть вместе с ними.

Неустроев развел руками, немного растерянно спросил:

– Чем я могу быть полезен?

Шестаков удивился:

– Как чем? Вы один из старейших арктических капитанов, у вас богатейший опыт ледового плавания. Вы ведь служили еще на «Ермаке»?

Неустроев кивнул:

– Да, я имел честь быть старшим офицером на судне, когда

им командовал Степан Осипович Макаров.

Шестаков заметил льстиво:

– Вы прекрасный гидролог, Константин Петрович! Я знаю, что еще в Морском корпусе гардемарины учились по вашим учебникам...

– Не надо слов, – махнул рукой Неустроев. – У меня вопросов больше нет.

Послышались легкие шаги, и в кабинет вошла высокая молодая женщина в темном платье с белым воротничком. Она сдержанно поклонилась Шестакову.

Неустроев представил:

– Познакомьтесь, пожалуйста, Николай Павлович, с моей дочерью Еленой. – Он повернулся к дочери и с неуверенной извиняющейся улыбкой добавил: – Леночка, это комиссар Шестаков. Мы...

– Прости, папа, вы так громко... Короче – я в столовой слышала весь ваш разговор. Когда мы едем?

Шестаков внимательно посмотрел на нее: сильная гибкая фигура, твердые серые глаза. И вежливо ответил:

– Елена Константиновна, мы с вашим отцом отправляемся в Архангельск сегодня ночью.

Непринужденно прислонясь спиной к резному мореного дуба книжному шкафу, Елена спросила:

– Мы едем только вдвоем? – «Мы» прозвучало недвусмысленно.

Еще вежливее Шестаков пояснил:

– Мы едем втроем: ваш отец, мой помощник Иван Соколов и я.

Серые удлинённые глаза Елены влажно заблестели, и Шестакову показалось, что она сейчас заплачет. Но голос ее был сух и непреклонен, когда она сказала:

– Значит, вчетвером.

Шестаков даже растерялся.

– Елена Константиновна, нам предстоит дьявольский рейс. Поверьте, это не женское дело... – насколько мог ласково сказал он.

Елена вспыхнула:

– Не говорите банальностей! «Не женское дело»! – передразнила она Шестакова. – А по трое суток не выходить из тифозных барачков – это женское дело? Делить осьмушки хлеба умирающим детям – это женское дело?..

Елена оторвалась от книжного шкафа, стремительно подошла к столу:

– Неделями трястись в санитарной двуколке?.. Отстреливаться от казаков... Это чье дело?!

Шестаков смотрел на нее во все глаза, любясь румянцем, вдруг загоревшимся на бледном лице. Покусывая от возбуждения ровными длинными зубами полную нижнюю губу, Елена говорила с жаром:

– Во-первых, папа, как дитя малое, нуждается в женском уходе. Во-вторых, не беспокойтесь, помехой не буду...

Шестаков сказал неуверенно:

– Я, право, и не знаю...

– Тут и знать нечего! – успокоила его Елена. – Чем труднее дело, тем больше вам понадобится опытная медсестра!

Шестаков пожал плечами – в твердых глазах ее была лукавая усмешка, и он перевел взгляд на Неустроева. Тот смотрел на дочь озабоченно. Решительно заканчивая деловой разговор, Елена сказала:

– А теперь прошу отобедать – у нас есть картошка, конопляное масло и прекрасный морковный чай...

И Шестаков увидел, что у нее хоть и маленький, но очень упрямый подбородок.

Лицо Елены, совсем еще девчоночье, задумчиво улыбающееся, с мечтательными продолговатыми глазами, было освещено желтым мигающим светом коптилки. Потускневший, обтрепанный по краям фотоснимок. Стершиеся на полях золотые вензеля, орленные печати, чуть видное факсимиле «ФОТОГРАФИЯ БРОЙДЭ, ПЕТЕРБУРГ. 1914 ГОД»... Фотография лежала на пустом снаряжном ящике, который использовали вместо стола. Рядом были разложены какие-то документы, на грязном вафельном полотенце поблескивали ордена – Владимир, Станислав, Георгий, медаль «За храбрость», французский «Почетный легион».

Чаплицкий бегло просматривал бумажки и большинство тут же сжигал на вялом пламени коптилки. Покончив с этим делом, он взял с ящика револьвер, ловко разобрал его и чет-

кими, привычными движениями принялся чистить.

Из серой мглистой темноты пакгауза, в которой угадывались силуэты еще нескольких человек, как диковинная донная рыба, выплыл в освещенный коптилкой круг прапорщик Севрюков, опухший, черный, подмороженный. Зябко обнимая себя за плечи, он долго смотрел на занятия Чаплицкого, а когда тот, вытерев чистой тряпицей затвор, начал смазывать его, прокаркал:

– Эт-та... На что вам эта игрушка, ваше благородие?

Чаплицкий поднял на него глаза, чуть заметно улыбнулся и сказал доброжелательно:

– Это, почтеннейший Севрюков, не игрушка. Это револьвер «лефоше»: семь патронов, в рукоятке – нож, а на стволе – кастетная накладка.

Севрюков поморщился:

– Французские глупости. По мне – нет стволов лучше, чем у немчуры. От маузера у противника в черепашке дырка образуется с кулак...

Чаплицкий вздохнул:

– Вы никогда ничему не научитесь, Севрюков. У вас мышление карателя. А ведь мы сидим, как крысы, в этом пакгаузе...

Сжав кулаки, Севрюков заорал:

– Я вам говорил, что надо всем вместе пробиваться! Не сидели бы здесь, как крысы...

– Не кричите, прапорщик, вас и так услышат, – сказал Ча-

плицкий, продолжая смазывать затвор. – Что же вам помешало пробиться?

– Так они валом перли, со всех сторон, – уже виновато пробормотал Севрюков. – Было бы стволов с полсотни – обязательно где-нибудь прорвались бы... Нам терять нечего...

Чаплицкий собрал револьвер, заглянул зачем-то в ствол, сказал лениво:

– Это вам, прапорщик, терять нечего.

– А вам? – вскинулся Севрюков.

Так же лениво, нехотя Чаплицкий процедил:

– А у меня здесь родина. Россия называется. Слышали когда-нибудь о такой земле?

Севрюков истерически захохотал:

– А то! Россия! Ха! Чай Высоцкого, сахар Бродского, а Россия Троцкого! Как не слышать!

Чаплицкий поморщился:

– Я же просил вас – тихо! Едва на ваши вопли подойдет красный патруль, придется вам опробовать маузер на собственной черепушке.

Из темноты вышли на огонек два офицера в шинелях с оторванными погонами. Следом за ними появился, еле волоча ноги, чихая и кашляя, командир первого «эскадрона смерти» ротмистр Берс.

– Чертовский холод! – сказал он уныло.

Севрюков поглядел на него с антипатией и злорадством, презрительно процедил:

– То-то! Это вам, Берс, не на гнедом жеребце гарцевать! Это вам не в черном эскадроне веселиться! С гриппом вы тут долго не протянете...

Берс накинул на плечи мешок, присел рядом с Чаплицким и, не устаивая Севрюкова взглядом, сказал, изящно грацируя:

– Этот Севрюков – совершенно дикий, стихийный мизантроп. Я бы не хотел оказаться с ним на необитаемом острове: томимый голодом, он может жрать человечину...

– Конечно, могу! – заржал Севрюков, несколько не обижаясь. – Не то что вы, хлюпики! Эхма, воинство сопливое!

– Как он умеет эпатировать общество! – усмехнулся Берс и сказал Чаплицкому по-французски: – Лё плебэн энсолэм авек дэз еполет д’оффисье (наглый простолудин в офицерских погонах).

– Чего это он лопочет? – подозрительно спросил Севрюков у Чаплицкого.

Тот задумчиво посмотрел на него, качая головой, медленно пояснил:

– Ротмистр утверждает, будто душевное здоровье человека зависит от гармонии между дыханием, желчью и кровью...

– Это к чему он придумал? – поинтересовался Севрюков.

– Насколько мне известно, это не он придумал, – терпеливо сказал Чаплицкий. – Есть такое индийское учение – Ригведа...

В амбаре повисло враждебное молчание. Севрюков, исполненный жадой деятельности, наклонился над фотографией Лены Неустроевой, присмотрелся к ней, коротко хохотнул и обернулся к Чаплицкому:

– Смазливая мамзель!

Берс опасно покосился на каменные желваки, загулявшие по худым щекам Чаплицкого, и соизволил обратиться к прапорщику Севрюкову:

– Вы бы помолчали немного, любезный!

– А чего? Высокие чувства? – Севрюков снова захохотал. – Так вы о них забудьте! Мы уже почти померли, перед смертью надо говорить только правду. А самая наиглавнейшая правда, какая только есть в этой паскудной жизни, – это что все бабы делятся на мурмулеточек и срамотушечек. Вот эта, на столе, – мурмулеточка...

Чаплицкий неувлимым мгновенным движением вскинул «лефоше», раздался еле слышный выстрел – и с головы Севрюкова слетела сбита пулей папаха.

Даже не посмотрев на побледневшего прапорщика, Чаплицкий сказал доброжелательно:

– Видите, Севрюков, я мог вас покарать. А потом взял и помиловал...

Опомнившийся Севрюков начал лихорадочно шарить трясущейся рукой по кобуре, но Чаплицкий уже положил свой револьвер на ящик перед собой и спокойно продолжил:

– Не делайте глупостей, не ерзайте, иначе я вас действи-

тельно застрелю. Вас, конечно, и надо бы застрелить, на Страшном суде мне бы скинули кое-что за такой благочестивый поступок... Тем не менее я дарю вам жизнь. Больше того, я дам вам свободу...

Севрюков криво ухмыльнулся:

– Это чего же ради?

Он с ненавистью уставился на Чаплицкого, который совершенно невозмутимо сложил документы, потом убрал их во внутренний карман своей солдатской шинели и туда же ссыпал ордена. Спрятал револьвер. И наконец объяснил:

– Мне запало в душу, Севрюков, что вы можете есть человеческое мясо. Вот я и хочу помочь вам – благодаря этому умению – перейти финскую границу.

– Плевать мне на ваши благодеяния, – зло зашипел прапорщик. – Я и сам...

– Нет, – покачал головой Чаплицкий. – Без меня вы не перейдете границу. Пятьсот километров зимней тундры пешком? Без продовольствия? Через красные кордоны?

– Ну и что вы хотите?

– Я вам подскажу, как добраться до Финляндии. Туда ушла дивизия генерала Марушевского, начальника штаба армии Миллера. Вы передадите ему письмо от меня, а он за это переправит вас в Англию. И для вас война закончена, раз и навсегда. Вас это устраивает?

Севрюков кивнул:

– Ну, допустим...

– Сегодня около полуночи из Архангельска пойдет почтовая упряжка в Иоканьгу. Почту повезет матрос Якимов с ненцем-каюром...

– А откуда вы это знаете? – хитро прищурился Севрюков.

– Вот это не ваше дело, уважаемый прапорщик. – Чаплицкий поднялся, сказал поучительно: – И вообще: не проверяйте меня, не соревнуйтесь со мной, не спорьте – вы всегда будете в проигрыше.

Севрюков спросил, набывчившись:

– Интересно знать, почему бы?..

Чаплицкий деловито продул пустой мундштук и ответил ровным голосом:

– Потому что ваш ангел там... – он показал рукой вверх, – отдан в услужение моему. Мне думается, там тоже классовое неравенство и вскоре ангелы-социалисты затеют классовую борьбу...

Ротмистр Берс захохотал:

– Не пыжьтесь, Севрюков, – такова ваша карма, записанная в священной книге судеб Бханата-Рутия...

Севрюков переводил взгляд с одного на другого, и ненавистническая скрипучая слеза повисла у него на редких белесых ресницах:

– Шутите? Шутнички-и! Раздери вас в корень! Дошутились! Расею-матушку на ногте унести можно. – Он протянул к ним свой мосластый грязный кукиш. – Нигде нам не будет пристанища... Такую землю потеряли-и...

Берс глупо пошутил:

– Приличный кусок своей земли вы унесете в эмиграцию под ногтями! Ха-ха!

Севрюков повернулся к нему всем корпусом:

– А ты, немец, молчи! – С досады он даже плюнул. – Тьфу! Двести лет вы тут пили-ели, пановали – и все как в корчме. Одно слово – наемники...

– Хватит, господа! – нетерпеливо стукнул ладонью по ящику Чаплицкий. – Вы согласны, Севрюков?..

Военмор Иван Соколов держал в руках верхнюю деку концертного рояля. Запотевшая с холода черная лаковость ее завораживала Ивана, он протирал ладонью окошко в серой мокрой испарине и смотрелся в темное зеркальное отражение. Гордо вздымал бровь, шевелил слабыми усишками, грозно морщил свою курносую бульбочку. Потом улыбнулся: наружностью своею остался доволен. И декой рояльной – тоже.

– Хорошая вещь, однако, – сказал он удовлетворенно, взял из угла топорик и ловко стал распускать деку на щепки, узкие досочки, стружки. – На вечер хватит...

Иван Соколов был человек неспешный, степенный, сильно ценивший покой.

Дорога на военную службу, в Петроград, ему понравилась; много дней стучали по железке колеса телячьего вагона – от его родной деревни Гущи в бескрайних барабинских сте-

пях до сумеречной, подернутой дымчатым дождливым туманом столицы, и все это время можно было спокойно спать на свежеструганных, ладных, пронзительно пахнувших сосновой нарах.

Просыпался, когда котловые разносили по вагонам тяжелые обеденные бачки, с удовольствием завтракал, обедал, ужинал и снова безмятежно засыпал.

Соколов уважал плотную еду, потому что весил девять пудов, и эти огромные комья мышц, могучий рослый костяк и неслучайные метры крепких, как парусная нить, нервов требовали всегда еды, когда Иван не спал.

Но Петрограда он тогда не увидел, потому что всех их, новобранцев, прямо с вокзала отвезли в военный порт, погрузили в толстобокий плашкоут, и старенький пузатенький буксир с надсадным сиплым сопением потащил их в Кронштадт.

Несколько часов, которые провел Иван на плашкоуте, немилосердно подбрасываемом короткой хлесткой волной Финского залива, внушили ему стойкое отвращение к морю.

Здесь, пожалуй, не разоспишься. И пузо тешить было бессмысленно: душа никакой жратвы не принимала, до зеленой желчи выворачивало Ивана наружу.

А кроме всего, сильно пугала такая жуткая пропасть воды вокруг. В тех местах, где родился и вырос Соколов, всей воды в самой дальней округе была речушка Ныря, пересылавшая к концу июля до гладких белых камешков на песча-

ном дне.

Здесь – во все стороны, куда ни глянь, – была серосизая, со смутной прозеленью вода.

Потому Ивана, как человека осмотрительного, неторопкого, очень беспокоил вопрос: а как же вон там, за краем водяного окоема, корабли находят дорогу домой или в те места, куда они собрались плыть? Ведь одна вода кругом, в какую сторону ни обернись?

Да и как тут воевать, на этих зыбких хлябях, прицеливаться, стрелять из пушек или из пулеметов, когда и мирно на этих пароходах не поплаваешь – так с души мутит и блюешь без конца, точно на третий день богатой свадьбы?

В общем, вся надежда оставалась на то, что государю императору нужны небось не только матросы, но и на берегу солдаты. Может, оставят в крепости? Или по какой другой вспомогательной береговой надобности.

Но с самого начала службы в полуэкипаже стало ясно, что шансов остаться на берегу маловато. К этому времени Иван уже стал помаленьку разбираться в типах кораблей и страстно мечтал, чтобы послали его служить на базовую брандвахту – она на мертвом якоре, от берега совсем близко.

Конечно, похуже, но неплохо все ж таки было бы попасть и на линкор. Дредноуты... они ведь здоровенные, каждый больше его деревни Гущи. В линкор и торпеда попадет – он не потопнет, а на снаряды ему просто чихать!... И как ни крути, на волне его качает много меньше.

Но, будучи человеком рассудительным, Иван понимал, что надеяться на такую редкую удачу довольно глупо. Надо рассчитывать, что, скорее всего, попрут его трубить на крейсерскую бригаду.

Это, конечно, не ахти какая важная служба. Хотя и в ней имеются кое-какие резоны: такой крейсер, как «Рюрик», к примеру, он размером чуть поменьше дредноута, а ход у него гораздо шибче, так что ежели германских кораблей окажется в перевес, то почти завсегда можно будет от них удрать! И пушек у него будь-будь! На отходе из одних кормовых пушек можно отстреляться.

Ценя покой, Иван был горячим противником атакующей тактики в морской войне.

О службе на миноносной дивизии Иван и думать не хотел, поскольку это уже выходило за рамки его представлений о нормальной жизни, а метилось адской карой за совершенные ранее грехи.

Если же говорить всерьез, то со всем этим трижды проклятушим флотом Ивана примиряла одна мысль, единственное утешение: из-за роста и девяти пудов здорового крестьянского веса его уж во всяком случае не могли взять на подводные лодки.

Подводные лодочки были ма-а-аленькие, а он – большой. Да!

Хоть в этом Господь уберег – от мерзкой участи законопачиваться в железный ящик, наподобие солонины в жестя-

ках, что раздавали в обед, и ползать в таком непотребном виде по дну морскому, а сверху на тебя еще мины кидают...

Тьфу, прости господи! И подумать противно!

А в день присвоения Ивану звания матроса второй статьи их всех построили на плацу полуэкипажа, и с начальником канцелярии пришел красивый мичман с веселым загорелым лицом.

Иван стоял на правом фланге. Мичман хлопнул его по плечу, со смешком, не приказом, спросил:

– Что, молодец, пойдешь ко мне служить?

– Так точно, ваше благородие! – браво отрепетовал Соколков, успевший за недолгий срок службы в полуэкипаже скумекать, что такие весельчаки и красавцы-офицеры всегда поближе к начальству, а начальство – поближе к теплу, а тепло – на берегу.

– Ну и прекрасно, – засмеялся мичман, отобрал еще двенадцать матросов и сказал речь:

– Поздравляю вас, братцы! Вы теперь матросы Шестой минной дивизии, члены экипажа эскадренного миноносца «Гневный», которым я имею честь и удовольствие командовать. Меня зовут Николай Павлович Шестаков...

Так и случилось ему, Ивану, самому себе выбрать судьбу, о которой он и думать-то никогда не хотел. Потому что балтийская служба на эсминцах – вообще дело беспокойное, а Шестаков к тому же оказался таким лихим, везучим и расчетливым командиром, что его корабль бросали, как прави-

ло, в самые трудные, опасные, порою просто безнадежные дела.

И под его командой Иван дозорил в штормовые безвидные ночи, уходил на минные постановки к скандинавским проливам, атаковал Данциг, напоролся в тумане на броненосный крейсер «Роон» и принял с ним бой, сражался против огромной германской эскадры под Моонзундским архипелагом, снимал с тонущего геройского линкора «Слава» остатки экипажа и добирался до Риги на полузатопленном изрешеченном, избитом эсминце.

А потом был неслыханный ледовый переход из Гельсингфорса в Кронштадт, когда нечеловеческим усилием, в последний момент, удалось спасти революционный Балтфлот.

И потом – глушил бомбами глубинными английские подлодки в Финском заливе.

И погибал на взорванном «Азарде».

И штурмовал Красную Горку.

Привык. Привык к морю, к войне. И очень привык к Шестакову.

И сейчас, помешивая в котелке на «буржуйке» булькающую кашу, Иван думал о том, что, конечно, глупо спорить: все, что он знает о мире, о людях, об устройстве человеческих отношений, – все это он узнал от Шестакова.

Хотя, по правде сказать, как раз из-за этой привязанности к Шестакову он и сидит сейчас здесь, мерзнет и голодует, а не списался с флота в декабре семнадцатого и не уехал в

свою далекую, сытую Барабу.

Конечно, и там, нет сомнения, на текущий момент война происходит и борьба с эксплуататорами. Но там все-таки дома, там все свое, знакомое, все понятное. Там бы он и без Шестакова теперь разобрался.

Да и жизнь эта, бродячая, цыганская, надоела.

Вот дали им сейчас с Шестаковым эту комнату – дак разве это комната для нормальных людей? Будто для великанов делали: потолки метров под шесть, от дверей к окнам ходить – запыхаешься, холодрыга – люстры от мороза хрусталиком бренькают!

Дворник, который и раньше служил в этом доме, пока еще не был дом сдан под общежитие для командировочных и бездомных работников Наркомпрода, рассказывал давеча Ивану о бывшем своем хозяине, дурном барине Гусанове.

Гусанов этот получил по наследству от какой-то тетки прямо перед войной домище – в каком вы и располагаетесь. И так, значит, развеселился Гусанов от наследства, а еще оттого, что войну воевал в Петрограде, что за два года профуфырил дом на скачках, бабах-вертихвостках и заграничной выпивке; продали дом кому-то с торгов.

И все сказали: дурак Гусанов, миллион прогулял!

А через год после революции дом в казну забрали – национализировали – и сделали общежитием. И все сказали – вот умница Гусанов, вот шикарно пожил!

Соколов вспомнил эту нелепую историю, достал из тря-

пицы кусок старого зажелтого сала, одну толстую дольку чеснока, растер его рукояткой ножа, тоненько порезал сало и заправил жидкую пшеничную кашу.

И задал себе вопрос: так что же этот Гусанов – дурак он или умный?

Облизнул с ложки обжигающую кашу, покатал на языке, послушал ее вкус в себе, потом решительно тряхнул головой – каша получилась хорошая.

А Гусанов был дурак.

За этими размышлениями и застал его вернувшийся вскоре от Неустроевых Шестаков.

Ужин был готов, и они с аппетитом поедали его прямо из котелка, сидя в шинелях на кроватях, придвинутых вплотную к печке.

Шестаков о чем-то сосредоточенно размышлял, и затянувшееся молчание было невольно словоохотливому Соколкову.

– Николай Палыч!... – завел он.

– Угу...

– Я вот подумал...

Шестаков бормотнул механически:

– Прекрасно...

– Вы ведь человек-то большой, однако... – гнул какую-то свою, ему одному ведомую, линию Иван.

– Спрашиваешь... – так же механически подтвердил Шестаков.

– По нынешним временам особенно...

Шестаков возвратился с небес на землю:

– Вань, каши не осталось там?..

– Не осталось, Николай Палыч.

– Ну и слава богу! Ничего нет вреднее сна на полный желудок. Так ты о чем?

– Вот говорю, что вы сейчас, коли по старым меркам наметать, никак не меньше чем на адмирала тянете. Ай нет, Николай Палыч?

Шестаков тщательно облизал ложку, кивнул серьезно:

– На бригадира...

– Это чтой-то?

– Был такой чин, друг милый Ваня, в российском флоте.

– Важный?

– Приличный. Поменьше контр-адмирала, побольше каперанга. Соответствовал званию командора во флоте его величества короля английского.

– Вот я о том и веду речь, – оживился Соколков.

– Чего это тебя вдруг разобрало? – засмеялся Шестаков. – Звания все эти у нас в республике давно отменены.

– А пост остался? А должность имеется? Ответственность в наличии? Вот мне и невдомек...

– Что тебе невдомек? – Шестаков точными быстрыми щелчками сбросил в кружку с морковным чаем порошок сахара. – Ты к чему подъезжаешь, не соображу я что-то?

– А невдомек мне разрыв между нашей жизнедеятельно-

стью и моими революционными планами об ней!

– Ого! Очень красиво излагаешь! – удивился Шестаков. – Прямо как молодой эсер смазливой горничной. Ну-ка, ну-ка, какие такие революционные планы поломала наша с тобой жизнь?

Соколов, наморщив лоб, вдумчиво сообщил:

– Я так полагаю, Николай Палыч, революция была придумана товарищем Лениным, чтобы всякий матрос начал жить как адмирал. А покамест вы, можно сказать, настоящий адмирал, ну, пусть и красный, живете хуже всякого матроса. Неувязочка выходит.

Шестаков сделал вид, что глубоко задумался, скрутил толстую махорочную самокрутку, прикурил от уголька:

– Понимаешь, мил друг Ваня, революция – штука долгая. И окончательно побеждает она не во дворцах, а в умах...

Иван закивал – понятно, мол. А Шестаков продолжал:

– Когда большинство людей начнет понимать мир правильно, тогда и победит революция во всем мире...

Соколов взъерошился:

– Ну а я чего понимаю неправильно?

– А неправильно понимаешь ты – пока что – содержание революции. – Шестаков легко забросил на койку согревшиеся ноги и сунул их под тюфяк.

– В каких же это смыслах? – обиженно переспросил Иван.

– В самых прямых, Ваня. Революция – это работа! Чтобы каждый матрос зажил как адмирал, надо всем очень много

работать. Ты сам-то когда последний раз работал?

– О-ох, давно! – пригорюнился Соколков. – Только когда же мне работать-то было? Я под ружьем, считайте, шестой год без отпуска!

– Вот то-то и оно. А хлебушек-то все шесть годов мы с тобой кушаем? Миллионы людей под ружьем, а кто под налычагом? А у станка? А в шахте? Слышал, докладывали: в нынешнем году Россия выплавит стали, как при Петре Первом. Ничего? На двести лет назад отлетели. А ты адмиральской жизни желаешь! Ну и гусь!..

Иван подбросил несколько щепок в печку, раздумчиво спросил:

– А что же будет-то?

– Все в порядке будет, Иван. Беда наша, что мы пахоту ведем не плугом, а штыком. Плугом это делать сподручнее, и хлеб из-под него богаче, да только от бандитов и грабителей, что на меже стоят, плугом не отмахнешься. Тут штык нужен. Погоди немного, отгоним паразитов за оком – вот тогда мы с тобой заживем по-другому...

– Эт-то верно. Да хлебушек-то людям сейчас нужен! Ждать многие притомились...

– Вот мы с тобой и отправляемся на днях за хлебом, – сказал Шестаков примирительно.

– Далеко? – оживился Соколков.

– Не близко. – Шестаков натянул повыше байковое одеяло, нахлобучил поглубже шапку, удобнее устроился на кой-

ке. – На Студеный океан, в Карское море.

Не вдумываясь, откуда в океане возьмется хлеб, Соколов лишь спросил деловито:

– Много хлеба-то?

– Миллион пудов с гаком.

– Ско-о-лько? – обалдело переспросил Иван.

– Мил-ли-он, – сонно пробормотал Шестаков, его уже кружила теплая дремота. И вдруг, приподнявшись, сказал ясным голосом: – Иван, ты соображаешь, сколько это – миллион пудов? Да еще с гаком? Всей России каравай поднесем!

Уронил голову в подушку и заснул уже накрепко, без снов, до утра.

А Иван Соколов еще долго лежал в темноте, шевелил губами, морщил лоб – подсчитывал.

К полуночи вызвездило – крохотные колючие светлячки усыпали черное одеяло небосвода, и от этого стало еще холоднее. Мороз словно застудил, намертво сковал все звуки окрест, и от этой могильной тишины хотелось ругаться и плакать.

Но прапорщик Севрюков и подпрапорщик Енгалычев, казак из старослужащих, сидевшие засадой в еловом ветхом балаганчике, брошенном кем-то из охотников-ненцев, плакать не умели, а ругаться нельзя было.

Шепотом – что за ругань?

А громко – нельзя.

И костра развести нельзя.

Прикрываясь за сугробом от острого, будто иглами пронизывающего ветра, Енгальчев зашептал:

– Слышь, Севрюков! Пропадем ведь без огня-то!

Севрюков покосился на него:

– За ночь не пропадем... – А у самого от стужи губы еле шевелятся.

Енгальчев зло сплюнул, и они слышали легкий металлический звон – будто гривенник упал на замерзший наст.

Плевков на лету застыл.

– Ночь ночи рознь, – сказал Енгальчев угрюмо. – Здесь ночь – полгода.

– Не скули. Нынче вытерпим ежели мы с тобой – всю жизнь в тепле будем.

– Жи-изнь... – протянул Енгальчев. – Ох и жизнь наша собачья. Озверели вовсе – на людей засидку делаем!

Севрюков растер рукавицами немеющие щеки, с коротким смешком бросил:

– Комиссары не люди. Учти, матроса убить – не грех, а добродейство...

– Ладно, посмотрим, – вяло сказал Енгальчев и тоже принялся растирать щеки. – Я так думаю, мы с комиссарами на одной сковороде у чертей жариться будем...

Прошел еще час.

Севрюков приподнял голову, насторожился:

– Тихо! Слушай!..

Из ночной мглы доносился пока еле слышный, но с каждой минутой все более отчетливый собачий лай, тяжелое сопенье. На милях вокруг разносился пронзительный визг полозьев по сухому снегу, гортанные выкрики каюра – шум груженной упряжки на санном тракте.

Енгальчев посмотрел на Севрюкова:

– Что?..

– Давай!

Севрюков подтолкнул Енгальчева в спину.

– Беги, падай на лыжню, – свистящим шепотом командовал он. – И лежи как покойник, а то нынче же будешь на сковородке у комиссаров...

Енгальчев выбежал на тракт, упал посреди лыжни, раскинув в стороны руки.

Севрюков снял рукавицы и быстро-быстро принялся растирать замерзшие ладони, согревать их дыханием.

Вот и упряжка показалась. Семь огромных пушистых лаек-маламутов. На нартах – двое укутанных в меховые толстые шубы людей.

Увидав распростертое тело Енгальчева, каюр командовал собакам «по-оть!» и с размаху воткнул в твердый снежный наст остол.

Упряжка остановилась. Собаки начали обычную грызню между собой, а матрос Якимов, закутанный башлыком, в перекрестье пулеметных лент, соскочил с нарт и закричал:

– Стоп машина, Кононка! Малый назад, травы пар! Челю-

век за бортом! Жив?

Каюр Кононка подбежал к Енгальчеву, наклонился над ним, приподнял голову.

– Дышит, однако! – крикнул Якимову.

– Тогда доставай спирт, готовь костер, выручать братишку будем! – скомандовал матрос.

Он тоже подошел к Енгальчеву.

Севрюков расстегнул пуговицы шинели, засунул ладони под мышки – руки надо согреть, иначе вся затея полетит к чертовой матери. И внимательно следил за дорогой. Пошевелил пальцами – двигаются.

Матрос склонился над Енгальчевым. Вот теперь время.

Севрюков выпростал руки, немного высунулся из-за сугроба, достал из-за пазухи тяжелый маузер, покачал его в руке. И тщательно прицелился.

Сначала в каюра, но не выстрелил, а плавно перевел длинный ствол на Якимова, в створ его широкой спины. А тот хлопал по щекам Енгальчева, тормозил его – очнись, браток!

Стократ усиленный безмолвием, треснул выстрел.

Матрос резко посунулся вперед, упал на колени, в муке поднял искривленное лицо, закричал-зашептал помертвевшему каюру:

– Беги, Кононка, беги!.. Это... засада... Беги... Почту... Я... умер...

И упал набок, закаменел.

В следующий миг ненец сорвался с места, длинным стремительным прыжком перескочил через обочину тракта, бросился бежать плотной снежной целиной. Заячьими петлями, рывками, падая и поднимаясь, помчался назад, в сторону Архангельска, туда – к людям!

Севрюков, прикусив губу, медленно вел за ним мушку, потом выстрелил.

Выстрел! Выстрел!

Подкинуло в воздух Кононку, будто ударили по ногам доской, упал на снег.

Севрюков засмеялся:

– Эть, сучонок! Не нравится! Врешь, не уйдешь, вошь раскосая! Гнида...

Кононка перевернулся на снегу, сразу зачерневшем от толстой струи дымной крови, дернулся несколько раз, застоял и затих.

Енгалычев вскочил и побежал к нартам.

Севрюков закричал ему:

– Стой! Ты куда? Прежде этих присыпать надо!

Капитан первого ранга Чаплицкий, его высокоблагородие, опять, выходит, прав оказался. Теперь, с упряжкой-то, и до самого генерала Марушевского добежим.

Но сначала – развести костер, отогреться...

Часть II. Поход

Через замерзшие вологодские болота, заснеженные печерские леса, пустынную кемскую тундру шел к Архангельску поезд.

Необычный эшелон. Впереди – платформа со шпалами, рельсами, потом бронеплощадка с морской трехдюймовкой «Канэ». Два астматически дышащих паровоза на дровяном топливе, три классных вагона, несколько теплушек, еще одна бронеплощадка и снова грузовая платформа.

Поезд полз сквозь ночь, визг ветра, плотную поземку. Лихорадочно дрожали разбитые, расшатанные во всех узлах своих старые вагоны.

Неожиданно поезд останавливался посреди поля или леса, и люди выходили, чтобы не рисковать при переезде через взорванный и кое-как, на скорую руку, восстановленный мост.

Или дожждаться ремонта пути.

Или нарубить дров для топки.

Или разобрать завал на путях.

Но железнодорожное бытие ничем не унять. В купе, скупо освещенном свечой, ехали Неустроев, Лена, Шестаков, Иван Соколов. Было холодно, и они пили чай.

Шестаков угрелся, на лбу даже выступили бисеринки пота.

Он подлил из жестяного чайника буряково-красную жидкость в кружку Неустроева, спросил:

– Константин Петрович, я в прошлый раз спорить не стал, но, сколько потом ни старался, так и не вспомнил, в какой из своих работ Литке выказал такое пренебрежение к нашим возможностям? Что, мол, для нас устье Енисея недостижимо? Ведь сам Литке был мореход отчаянный!

Неустроев засмеялся:

– В трудах отчаянного морехода и выдающегося открывателя Литке вы ничего подобного и не найдете. То, о чем я говорил, увы, лишь резолюция Литке, уже генерал-адъютанта и вице-президента Географического общества. Резолюция на официальном документе!

– По какому поводу?

Неустроев грустно покачал головой:

– История эта длинная, печальная и по-своему возвышенная. Это история борьбы горячего российского духа открытательства и познания против холодной природы Севера и прямо-таки ледяной сущности имперской бюрократии...

– Известное дело – царской империи Север ни к чему, – заметил степенно Соколков.

Неустроев удивленно посмотрел на него. И продолжил:

– Идею предстоящей нам экспедиции впервые попытался осуществить шестьдесят лет назад замечательный человек – Михаил Константинович Сидоров, купец и промышленник по положению, исследователь и ученый по своему неукроти-

мому духу.

– Среди богатых тоже умные люди бывали, – вновь согласился Иван, которому Неустроев явно нравился своей ученостью.

Неустроев добродушно улыбнулся, кивнул.

– Сидоров снарядил под командой внука великого Крузенштерна – лейтенанта Павла Крузенштерна – парусную шхуну «Ермак», – сказал он. – Шхуна должна была через Карское море прорваться в устье Енисея.

– А что его привлекло именно к этому маршруту? – спросила Лена.

– Дешевый морской путь. Если бы Сидорову удалось проложить его, то из Сибири в Европу можно было бы выбросить огромное количество леса, избыточного хлеба, смолы, мехов, орехов...

– Я слышал, что шхуну затерло льдами где-то в районе Югорского Шара и отнесло к побережью Ямала, – сказал Шестаков. – Так, кажется, Константин Петрович?

– Да, так. Команде пришлось покинуть судно и возвратиться через Обдорскую тундру.

– И что, Сидоров смирился с неудачей?

– Ни в коей мере! Он отправился в Петербург, чтобы лично доказать возможность научного и коммерческого мореплавания из Европы в Сибирь и обратно. Он заявил, что готов послать судно на свои средства в устье Енисея и предложил премию в двадцать тысяч золотых рублей первому суд-

ну, которое пройдет по этому маршруту...

– Неужто двадцать тыщ не взяли?! – ахнул Иван.

– Не взяли, – сокрушенно покачал головой Неустроев. – Вот как раз тогда Литке и заявил, что у нас нет подходящих моряков. Даже Вольное экономическое общество отказалось от этой идеи. Они считали, будто только в Британии есть навигаторы и моряки для плавания в ледовых условиях...

– А коммерсанты почему отказались? – спросил Шестаков. – Они ведь не бюрократы, они ведь проворный народ?

– Отказались именно потому, что – коммерсанты. В своем проворстве они сразу сообразили, что открытие Северного прохода даст выход на мировой рынок дешевому сибирскому хлебу и лесу. Прибыли упадут! В те времена, между прочим, на весь хлеб, ввозимый из-за Урала, налагалась специальная пошлина!

– И что же Сидоров?..

– Ничего! Он не успокоился и нашел способ подать цесаревичу Александру – «покровителю флота» – докладную записку.

– Отказали небось? – уловивший настроение Соколов махнул рукой.

– Дело не только в том, что отказали. Я запомнил наизусть резолюцию, которую наложил воспитатель наследника престола генерал Зиновьев на докладную записку Сидорова...

Неустроев прикрыл глаза и четким голосом фельдфебельской команды на плацу, взмахивая по-унтерски в такт пра-

вой рукой, будто отрубая конец предыдущего предложения, прочитал по памяти:

– Так как на Севере постоянные льды и хлебопашество невозможно!.. И никакие другие промыслы немислимы!.. То, по моему мнению и мнению моих приятелей!.. Необходимо народ удалить с Севера во внутренние страны государства!.. А вы хлопчете *наоборот* и объясняете о каком-то Гольфштроме!.. Которого на Севере быть не может!.. Такие идеи могут проводить только помешанные!..

– М-да-аа... – только и выдавил из себя Шестаков, а Неустроев закончил удрученно:

– Вот вам окончательное заключение государственного мужа! «Моему мнению и мнению моих приятелей»! Кто эти приятели? Ведь не Литке же, хотя он с резолюцией и согласился! Уму непостижимо!..

– И Сидоров оставил свои усилия? – ужаснулась Лена.

– Нет. Он лишь оставил усилия решить проблему с помощью царского правительства. Михаил Константинович поехал в Англию и там опубликовал свой проект в газетах, обещая все ту же огромную премию. Потом перебрался в Норвегию и увлек своим планом Норденшельда...

За окном глухо треснул ружейный выстрел, потом еще раз, гулко хлопнула пуля по стене вагона. Шестаков быстро поднялся, задул свечу, прижался лицом к непроглядно-черному стеклу. С бронеплощадки раскатисто затарахтел пуле-

мет, рывкнуло орудие – больше, видимо, для остротки. Ходу поезд не сбавлял, и ружейные выстрелы вскоре затихли.

Шестаков уселся на место, твердыми пальцами не спеша затеплил свечу в фонаре.

– Ничего, если никаких новых чудес не случится, завтра будем в Архангельске, – пообещал он уверенно.

– Нам сразу же понадобится очень много людей, – думая о своем, отозвался Неустроев.

– Не беспокойтесь, Константин Петрович, я говорил по прямому проводу с командармом-шесть товарищем Самойло.

– Самойло будет обеспечивать военную подготовку нашей экспедиции?

– И не только военную. Он меня заверил, что у них все уже идет полным ходом.

Лена отложила книгу, которую с трудом читала при тусклом свете свечи.

– А правда, что Самойло – этакий красный Мюрат? – спросила она.

– В каком смысле?

– Я слышала, будто он до войны был безграмотным батраком и выдвинулся только в годы революции.

Шестаков расхохотался:

– История романтическая, но недостоверная. Основательно выдвинулся по службе еще предок его, Самойло Кошка, – он был гетманом запорожским и известен, помимо прочего,

тем, что провел у турок в плену двадцать шесть лет, потом бежал и прославился воинскими подвигами.

– Значит, с родословной у него все в порядке, – улыбнулась Лена.

– Да, безусловно, – с полной серьезностью подтвердил Шестаков. – Что касается самого Александра Александровича, то я его очень хорошо знаю – мы воевали в этих местах почти два года.

– Так он профессиональный военный?

– И не просто профессиональный военный. Александр Александрович один из образованнейших и умнейших русских военных. Был генералом, помощником начальника разведотдела генерального штаба... – Шестаков протер платком запотевшее окно, всмотрелся в ночную темень, повернулся к Лене: – Забавно, что его непосредственным начальником был генерал-лейтенант Миллер, главнокомандующий войсками Севера...

– А что?

– А то, что теперь именно Самойло выпер Миллера из пределов Республики. С треском...

– Действительно, смешно, – сказала Лена. Помолчав, задумчиво добавила: – Как революция все на нашей земле изменила, все смешала...

– Да-а, перемешалось здесь все крепко, – кивнул Шестаков. – Помню, в прошлом году белое командование сообщило, что хотят встретиться с нами для передачи официального

документа командарму Самойло. От наших пошли комиссар Чубаров, я и Иван Соколов...

– Так точно, я лично присутствовал, – авторитетно подтвердил Соколов.

Шестаков покосился на него, усмехнулся и продолжил:

– Да-а, так вот, встречаемся мы, значит, на нейтральной полосе, глядь – знакомые все лица! От миллеровцев – капеланг Чаплицкий, начальник их контрразведки, и лейтенант Веслаго – мы с ними служили в минной дивизии в Або-Аландских шхерах...

Лена вздрогнула, быстро взглянула на отца, но Шестаков, не обратив на это внимания, продолжал неторопливо рассказывать:

– Мы все от неожиданности растерялись. Потом Чаплицкий мне говорит: «Гражданин комиссар, или как вы там нынче называетесь, мне поручено передать вашему командиру, обер-предателю русского народа, смертный приговор Высшего военного трибунала Северного правительства. Приговор вынесен заочно и будет приведен в исполнение незамедлительно после ареста Самойло...»

Снова вмешался Иван Соколов:

– Я тогда сразу сказал Николаю Палычу: раз мы эти... как его... парамен...

– Парламентеры, – подсказал Шестаков.

– Ага, парламентеры. Дык вот, раз, говорю, мы парламентеры, то давайте сразу и пристрелим их, шкур недобитых,

белогвардейских!

Лена испуганно посмотрела на него, но Иван сокрушенно развел руками:

– Николай Палыч, конечно, против: нельзя, говорит, врагов, говорит, честные люди убивают в бою. У нас с тобой – дипло-ма-ти-чес-кая миссия. Мис-си-я!

– Ну и как же вы поступили? – сухо, с неожиданным ожесточением спросила Лена.

Шестаков пожал плечами:

– Я сказал Чаплицкому, что его смелость превосходит здравомыслие: максимум через полгода все вы будете пленными командарма Самойло.

Лена как бы из вежливости, без любопытства, сказала:

– А что он?..

– А он за это пообещал меня повесить на одном фонаре с командармом. Я, разумеется, душевно поблагодарил за честь, и мы расстались.

– И что же с ними стало? – так же вежливо и спокойно спросила Лена. Безразлично, как о чем-то малозначительном, совсем неинтересном.

Шестаков удивился:

– С этими, Чаплицким и Веслаго? Понятия не имею. Скорее всего, бежали вместе с Миллером. Чаплицкий, насколько мне известно, заправлял у Миллера всеми делами в последнее время. А почему вы об этом спрашиваете, Елена Константиновна?

– Да так, просто показалось любопытным... Чаплицкого я знала когда-то, во времена незапамятные...

Лена плотнее запахнула шубку и раскрыла книгу, пододвинув ее поближе к свече...

Скрипя сапогами по плотно слежавшемуся снегу, Чаплицкий и ротмистр Берс направились из старого архангельского порта через задворки Саломбалы в город. Берс нутужно кашлял, на ходу задыхался.

– Я, кажется, совсем разболелся, – пожаловался он Чаплицкому.

Думая о чем-то своем, Чаплицкий пробормотал:

– Терпите, Берс, терпите. Скоро мы будем в тепле. Там я вас вылечу...

Берс, покосившись на Чаплицкого, сказал с неуверенным смешком:

– Когда вы так говорите, дорогой друг, я начинаю думать, что вы пропишете мне порошок Бертоле.

Чаплицкий удивился:

– Порошок Бертоле?

– Ну да! Лучшее успокаивающее средство – это сухой черный порошок.

Чаплицкий засмеялся:

– У вас действительно не в порядке нервы. Я собираюсь лечить вас проверенными народными средствами.

– Прекрасно! В учении Заратустры соискатель на лекар-

ское звание должен был вначале вылечить трех пациентов из низшей касты – врагов Агура-Мазды...

– Эту ступень я одолел давным-давно, – скромно сказал Чаплицкий. – А дальше что?

– Только после этого лекарь мог практиковать и в высшей касте – среди друзей Агура-Мазды...

Чаплицкий молча слушал. Остановившись, чтобы прокашляться, Берс воздел палец:

– Не забывайте, что по своему положению и происхождению я друг Агура-Мазды!

Чаплицкий ухмыльнулся:

– По своему положению вы беглый белогвардеец и враг революции. Ясно? Пошли!

Они двинулись дальше, и Чаплицкий продолжил:

– Поэтому...

– Стой! Кто идет? – И вместе с криком прямо перед ними из темноты вырос патруль: солдат с винтовкой наперевес и мужик в сером драпом азяме.

У мужика в руках было старое охотничье ружье. Он взгляделся в путников и требовательно спросил:

– Пароль?

Чаплицкий, отодвигая назад Берса, выступил вперед:

– Знамя! Свои, товарищи!

Солдат кивнул, и Чаплицкий быстро сказал:

– Мы из ЧК. Здесь несколько минут назад мужчина с женщиной в белом платке не проходили?

Солдат задумался:

– В белом платке? Баба?.. Чегой-то не видали. А вы пропуск свой мне все-таки покажите. Не обижайтесь, граждане чекисты, время как-никак военное...

Чаплицкий простецки засмеялся:

– А чего ж обижаться? Наоборот, хвалю за революционную бдительность. Вот мой мандат...

Он протянул солдату бумажку, тот взял ее в руки, приблизил к глазам, чтобы получше рассмотреть в темноте.

В тот же миг Чаплицкий выхватил из кармана кастет-револьвер и со страшной силой ударил патрульного в переносицу. Быстро переступил через осевшее тело и в длинном беззвучном прыжке достал выскочившим из рукоятки «лефшо» лезвием мужика в драном азяме. В горло.

Захлебнулся мужик кровавым бульканьем и, заваливаясь круто на спину, сипло выдохнув, успел напоследок выстрелить из старой кремневки вверх, в зябко дрожащие, неуверенные звезды...

Чаплицкий тихо скомандовал:

– За мной, быстро!

Они побежали по темному проулку, хрипло, загнанно продыхиваясь. Визжал под ногами плотный снег.

И в молчаливой устремленности затравленных хищников ощущалась смертельная угроза.

Бежали долго, и, когда Берс остановился, поняв, что в следующую секунду он умрет, Чаплицкий шепнул:

– Здесь! Сможете перелезть через забор?

Берс молча покачал головой.

– Влезайте мне на спину!

Чаплицкий подсадил, поднял, резко подтолкнул ротмистра, потом подпрыгнул сам.

Подтянулся на руках, рывком перемахнул через саженный заплот.

Упал в сугроб, вскочил, несильно пнул ногой Берса:

– Не сидите на снегу! Застудитесь. Вставайте! Ну, вставайте – мы пришли...

Зала – главная горница крепкого дома бывшего купца Солоницына Никодима Парменыча – была непроходимо заставлена разностильной мебелью, забита до отказа дорогой утварью и украшениями.

Павловский буфет, а в нем корниловский и кузнецовский фарфор, чиппендейл с тарелками из орденских сервизов, гамбсовские пуфы, шереметевские резные буфеты с яйцами Фаберже. На стенах – ростовская монастырская финифть вперемешку с лубочными олеографиями.

Чаплицкий и Берс сидели за богато накрытым столом и смотрели на все это с изумлением, как рассматривают геологи откос рухнувшего берега с обнажившимися слоями наносного грунта, – здесь так же отчетливо были видны пласты добра, собранного после схлынувших волн белогвардейского бегства через Архангельск.

Чаплицкий поднял рюмку:

– Ваше здоровье, Никодим Парменыч!

– Заимно! – Солоницын солидно прикоснулся бокалом к офицерским рюмкам, проглотил коньяк, густо крякнул, вытер усы. Закусил маринованным груздем.

Офицеры ели жадно, торопливо, давясь непрожеванными кусками.

Солоницын внимательно смотрел на них, еле заметно, в бороду усмехался. Подкладывал, дождавшись перекура, спросил Чаплицкого:

– Ну-с, Петр Сигизмундович, теперь, можно сказать, закончились ваши дела здесь?

Чаплицкий прожевал кусок копченого угря, по-простому вытер губы куском хлеба, проглотил его, затянулся табачным дымом, неторопливо ответил:

– Нам с вами, Никодим Парменыч, как людям глубоко религиозным, отныне и присно надлежит смиренно внимать божественным откровениям отцов церкви...

Солоницын степенно склонил голову.

Чаплицкий продолжал:

– Святитель казанский Гурий указывает нам: «Подвизаться должно, несмотря ни на какие трудности и неудобства, чинимые сатаной...»

Солоницын засмеялся, погладил себя по вислему, гусиным яйцом, животу, сказал дорогому гостю добро, предостерегающе, отечески:

– Эх, Петр Сигизмундович, ваше благородие! Шибко прыткий ты господинчик. Все тебе укороту нет! А ведь комиссары-то, пропади они пропадом, чай, тоже не дремлют?

– Думаешь? – вскинул брови Чаплицкий.

– А как же? Они шастают и рыщут, как псы исковые! Гляди, отловят тебя – панькаться не станут. Сразу на шибеннице ножками задрыгаешь...

– А сам-то, Никодим Парменыч, комиссаров нешто не боишься?

– Бояться-то боюсь, конечно. Но все ж таки я не офицер, как-никак, не контра. Я человек тихий, торговый. А без торговли при всех властях жисти промеж людей быть не может. Устаканится все помаленьку, глядишь, снова можно будет покумекать – што да как...

Чаплицкий посмотрел на Берса, которого развезло в тепле, и спросил купца:

– А мне чего посоветуешь? Как жить подскажешь?

Солоницын сказал веско:

– У тебя, ваше высокоблагородие, один путь: через чухонскую границу на Запад драпать.

– А чего так? – лениво поинтересовался Чаплицкий, с удовольствием раскуривая вторую толстую сигарету с золотым обрезом, английского происхождения. – Может быть, и мне подождать, пока все устаканится?

Солоницын даже со стула поднялся:

– Петр Сигизмундович, голубь ты мой, упрсом тебя про-

шу, послушай старика. Обогрелись – поспите чуток, харчишка я вам в дорогу соберу, и берите ноги в руки! – Для убедительности он прижал короткие толстые ручки к сердцу: – Петр Сигизмундович, дружка твоего – ладно, не знаю я, а ты, хотя и молодые годы твои, кровушки людской рекой пустил. Не дай бог большевичкам в руки попасть. Они тебе вспомнят...

– Вот так, значит? – серьезно, задумчиво переспросил Чаплицкий. – Ай-яй-яй... Вы слышали, геноссе Берс? Оказывается, наше дело – табак. У вас есть какие-нибудь соображения по этому поводу?

Берс приоткрыл ословевшие глаза:

– Я согрелся, сыт, слегка пьян и потому спокоен. Ибо сутры Прагна Парамита утверждают, будто вся наша жизнь есть очень, очень долгий сон с повторяющимися сновидениями, прекрасными и кошмарными.

– Замечательно! – Чаплицкий гибко поднялся из глубокого кресла и показал рукой на Солоницына: – В таком случае внимательно взгляните на этого постного старичка, похожего на туза треф...

Солоницын обиженно зажевал губами, а Чаплицкий, прогуливаясь по горнице, спокойно продолжал:

– Я знаю Никодим Парменыча много лет. Был он маленький лавочник, пустяковый человечек, просто паршивенький дедушка. Так бы и сгнил со временем, если бы не я – настоящий, вдумчивый искатель в сердцах людских. Я открыл на

пользу всему человечеству его дарование...

Берс заинтересовался:

– Дарование? Какое же?

– Никодим Парменыч – гениальный шпик и талантливейший провокатор!

Солоницын вздрогнул, быстро перекрестился. Его ноздреватое, желтое, как подсохший лимон, лицо начало медленно сереть. Снова перекрестился.

Чаплицкий театральным жестом указал на него:

– Во-во-во! Смотрите, Берс, сейчас будет приступ благочестия. Вот так же он обмахивался, когда я приказал расстрелять политически неблагонадежных рабочих на его лесопильном заводе. Конечно, по его просьбе: не надо платить жалованье за полгода, а остальным можно снизить ставки...

Берс укоризненно покачал головой:

– Ай-яй-яй! Кто бы мог подумать!..

А Чаплицкий заверил:

– Вы не можете себе представить, Берс, что в этом богобоязненном старце клокочет гордыня Рябушинского и тщеславие Форда. При моем содействии за три года он купил... – Чаплицкий принялся неторопливо загибать пальцы: – Лесозавод, причал, свечную фабрику, буксир, четыре лихтера и трактир в порту...

Чаплицкий остановился рядом с Солоницыным:

– И все на чужие имена. Правильно я говорю, Никодим Парменыч, ничего не забыл?

Солоницын прикрыл глазки, пожал плечами: говори, мол, говори.

Не обращая на это внимания, Чаплицкий сказал не без гордости:

– Должен вам заметить, герр Берс, что этот лапоть, этот серый валенок подготовил мне лучших доносчиков и соглядатаев... – И снова обратился к купцу: – Все их рапорты вместе с вашими, Никодим Парменыч, записочками пока припрятаны.

– Это вы к чему, ваше высокоблагородие? – ершисто спросил Солоницын.

– Это я к тому, многоуважаемый господин Солоницын, что вы напрасно собрались дожидаться мира и благодати при большевичках. Вы солдат армии, из которой можно демобилизоваться, только померев. Уйдя в мир иной. Преставившись, так сказать. Все поняли?

Солоницын покорно склонил голову:

– Должон был понять. Што тут не понять. Значитса, теперя прикажешь мне по ночам на улицах бегать да комиссаров стрелять? Али штаб ихний поджечь?

– Вот это я без вас управлюсь, – засмеялся Чаплицкий. – Ваша другая задача. Мы теперь будем жить у вас, пока вы нам другое жилье, поспокойней, не подыщете. Это раз. Во-вторых, срочно приготовьте мне – к завтраму – четыре тысячи рублей...

– В «моржовках» али в нынешних? – деловито спросил

Солоницын.

– «Моржовками» и нынешними можете оклеить вот эту свою уютную гостиную. Я человек крепких взглядов – нужны золотые николаевские червонцы.

Солоницын покачал мясистым клювом:

– Стоко не соберу.

– Соберете, соберете, – успокоил его Чаплицкий. – И хочу вам напомнить в последний раз: вы мне ма-ахонький подчиненный и впредь никогда не смейте вступать со мной в пререкания. Иначе я вас застрелю – прямо вот здесь... под святыми образами.

Солоницын тяжело вздохнул:

– Господи, круты же вы, господин Чаплицкий! Сколько людей поубивали, а все вам неймется.

Чаплицкий похлопал его по плечу:

– Вы, Никодим Парменыч, убитых не жалейте, бабы новых нарожают... Бы-ыстро...

...В помещении штаба Шестой армии было тепло, накурено, душно – шло совещание, которое проводил командарм Самойло.

С докладом выступал председатель Губчека Болдырев – худой высокий человек с неровным чахоточным румянцем.

Он говорил взволнованно:

– Белогвардейские недобитки стали реальной угрозой общественному спокойствию и правопорядку. Они грабят и

мордуют мирное население, нападают на заставы и патрули. Вчера ночью снова было зарезано двое патрульных. Никаких следов не обнаружено. Особенно настораживает, что бандиты, по всей вероятности, знали вчерашний ночной пароль, иначе патруль не допустил бы их к себе вплотную... Это очень тревожный факт. Есть, значит, утечка секретных сведений.

Командарм Самойло оторвался от бумаг:

– Что вы предлагаете?

Болдырев решительно рубанул рукой:

– Мы просим выделить для разовых операций ЧК регулярный полк!

– Что это даст?

– С такими силами мы сможем провести массовые облавы в трущобных районах порта и в Саломбале.

Самойло задумался – выделить целый полк было нелегко. Он еще не принял решения, когда открылась дверь и в штаб вошли Шестаков и Неустроев.

Самойло секунду смотрел на них с удивлением, потом вскочил им навстречу:

– Николай Павлович, дорогой!

Шестаков вытянулся по стойке смирно и четко доложил, держа руку под козырек:

– Товарищ командарм! Особоуполномоченный Всероссийского центрального исполнительного комитета для проведения Сибирской хлебной экспедиции военмор Шестаков

прибыл в ваше оперативное подчинение!

И бросился в объятия Самойло.

Они долго радостно тискали друг друга, потом Шестаков представил своего спутника, который с улыбкой наблюдал встречу друзей:

– Познакомьтесь, Александр Александрович, начальник Сибирской экспедиции, замечательный мореплаватель, капитан дальнего плавания Неустроев Константин Петрович...

Пока они знакомились, Шестаков осмотрелся. И увидел сидевшего за столом начальника связи Щекутьева. Тот улыбался ему со своего места весело и приветливо.

С радостным удивлением Шестаков пожал ему руку, подмигнул – мол, потом поговорим.

Расстегнул объемистый портфель и достал из него большую плотную папку и красную коленкорovou коробочку с изображением ордена Красного Знамени.

Снова вытянулся по стойке смирно:

– Товарищ командарм! Всероссийский центральный исполнительный комитет поручил мне огласить приказ Реввоенсовета Республики и вручить вам орден Красного Знамени, которым вы награждены за разгром армии генерала Миллера и ликвидацию Северного фронта...

Самойло тоже встал смирно и внимательно выслушал приказ Реввоенсовета.

Шестаков торжественно вручил командарму грамоту ВЦИК и орден.

Самойло пожал ему руку, смущенно примерил орден.

– Этот орден для меня и честь, и радость. И утешение, – добавил он, улыбаясь.

– Утешение? – переспросил Шестаков.

– Да, утешение. Прошлой зимой во время голода жена обменивала все мои старые ордена на пуд ржаной муки и два пуда картошки...

Болдырев сказал проникновенно:

– Рабоче-крестьянская Россия наградит вас, Александр Александрович, благодарностью миллионов людей, чью свободу вы отстаивали...

Самойло махнул рукой:

– Ну... зачем же так возвышенно... Давайте лучше за дело, товарищи! Прошу высказываться...

Пока выступал заместитель начальника штаба, прибывшие устраивались за столом. Шестаков уселся рядом с Самойло, Неустроев оказался на стуле около Болдырева.

Шестаков деловито спросил:

– В первую голову – как с углем?

– На складах Архангельского порта имеется около тысячи тонн, – отозвался Самойло.

Шестаков дождался, пока закончит заместитель начальника штаба, встал.

– Товарищи! – начал он. – Сегодня же должен быть издан приказ о переводе электростанции, всех городских кочегарок на дрова. Уголь – это вопрос всех вопросов на се-

годняшний день. Необходимо реквизи́ровать его у всех торговцев. Прошу подумать, какие имеются резервы для экономики и сбора угля?

Болдырев с места сказал:

– Незамедлительно объявить трудовую мобилизацию среди буржуазии, купцов и всех нетрудовых элементов. Всех бросить на заготовку топлива...

– Дельно, – одобрил Шестаков. – Надо продумать и другие меры...

Неустроев наклонился к Болдыреву и тихо спрашивал его о чем-то...

А Шестаков напористо излагал программу необходимых для обеспечения похода действий:

– В ближайшие дни надо провести партийную конференцию на судоремзаводе и механическом заводе Лида! Нужно обратиться с воззванием к трудовому населению Архангельска – разъяснить громадность стоящей перед нами задачи...

Щекутьев, внимательно слушая Шестакова, что-то торопливо помечал в своем блокноте.

– Центральный комитет партии, ВЦИК и Реввоенсовет Республики призывают губернскую партийную организацию, – звучал над ними голос Шестакова, – бросить на самые трудные участки экспедиции коммунистов, сознательных пролетариев, лучшую часть старого офицерства...

Вскоре совещание окончилось. В коридоре Шестаков и Щекутьев долго обнимались, радостно восклицали что-то,

хлопали друг друга по плечам.

– Привел все-таки Бог свидеться, – довольно говорил Шестаков. – Ведь с шестнадцатого года нас с тобою где только не мотало...

– Меня-то не очень, – смеется Щекутьев. – Как в январе семнадцатого перевели на Север, так и трубю в Архангельске бессменно.

– Ты и тут по части радио командуешь?

– Начальник службы связи! – гордо сообщил Щекутьев.

К ним подошел Неустроев, и Шестаков представил ему Щекутьева:

– Знакомьтесь, Константин Петрович, – военмор Щекутьев Сергей Сергеевич, мой соратник по минной дивизии, а ныне главный архангельский Маркони...

Неустроев приветливо поклонился:

– Весьма рад...

– И мне очень приятно, Константин Петрович, – искренне сказал Щекутьев. – Я еще в Морском корпусе, в гардемаринах, был про вас наслышан.

– Ну уж, ну уж... – Смущенно улыбаясь, Неустроев отошел.

– А я частенько вспоминал, как мы с тобой в Данциге повоевали, – мечтательно прищурился Щекутьев. – Ох и операция была лихая!

– Лихая, ничего не скажешь, – согласился Шестаков и, немного помолчав, добавил душевно: – Я очень рад, Сережа,

что ты с нами.

– Ну еще бы! – охотно поддержал его Щекутьев. – Мне тут довелось с Шуриком Новосельским столкнуться, когда белые отступали...

Щекутьев задумался, и Шестаков поторопил его:

– Ну-ну, так что Шурик?

Щекутьев посуровел, сказал неприязненно:

– Враг. Да еще какой! Злобы сколько... А ведь койки в кубрике рядом висели... Хлебом делились...

– Диалектика революции, – развел руками Шестаков. – Я потому и радуюсь тебе... Ну, дружок, я помчался – дел невпроворот. Как устроюсь – дам знать. Пока...

– Оревуар!... – улыбнулся Щекутьев.

Четыре тысячи Солоницын достал.

И теперь в горнице Чаплицкий и Берс вместе с хозяином пили чай. В комнате было почти темно – лишь вялый огонек лампы под образами еле колебал сумрак.

На столе перед Чаплицким лежали ровные столбики золотых монет.

– Ну, вот видите, господин Солоницын, нашлись денежки, так? А вы опасались не собрать, – не то улыбался, не то по-волчьи скалился Чаплицкий.

– Соберешь, пожалуй, – тяжело вздохнул Солоницын. – Пока рубашку с меня последнюю не сымете, не успокоитесь ведь...

– Не агробируйте, господин купец. Сиречь – не преувеличивайте, – лениво заметил Берс. – Под вашим последним бельем еще толстый слой золотого жирка...

Он допил чай, расслабленным шагом прошелся по зале, сказал поучительно:

– Царь Кудгадан, отец великого Будды, заповедывал нам думать не о золоте, а о жизни вечной...

Солоницын неприязненно покосился на него.

Чаплицкий прямо в сапогах улегся на диван, неторопливо закурил и сказал Солоницыну:

– Не тужите, Никодим Парменыч! Вам надо только дожидаться победы нашего дела...

– И что тогда?

– А тогда я дам вам на откуп все рыбные промыслы! На девяносто девять лет!

– Ага! Буду дожидаться. Коли тебя, ваше высокоблагородие, завтра Чека где-нибудь не подшибет. И будут мне тогда промыслы!

– Все мы в руке Божьей, – сладко потянулся Чаплицкий. – В Евангелии от Иоанна сказано: «Да не смущается сердце ваше и да не устрашится!»

– А-а! – небрежно махнул рукой Солоницын.

– Вот-вот, господин меняла, все беды от неверия нашего!

Солоницын встал, бормотнул угрюмо:

– Пойду скажу, чтобы свет запалили.

– Не надо! – неожиданно резко бросил Чаплицкий. – Не

надо! Сейчас ко мне придет гость, нам лишний свет не нужен. Не нужны лишние глаза, уши и языки. Вы, Никодим Парменыч, не маячьте здесь. Идите к себе наверх, отдохните после чая, помолитесь... – Подумал и добавил: Вас ротмистр проводит... Чтобы соблазна не было ухо сюда свесить.

И едва он произнес эти слова, раздался короткий двойной стук в дверь.

Чаплицкий поднялся и скомандовал Берсу:

– Ну-ка, ротмистр, воздымите его степенство! Быстренько!

Солоницын, недовольно бормоча себе под нос что-то невразумительное, отправился вместе с Берсом в мезонин.

А Чаплицкий подошел к двери, прислушался, потом отодвинул засов. В горницу вошел человек, закутанный в башлык поверх тулупа. Лица его в сумраке не было видно.

Чаплицкий дождался, пока он разделся, проводил в горницу, предложил:

– Обогреетесь? Есть чай, можно водочки...

– Сейчас, к сожалению, не могу, Петр Сигизмундович, – отказался гость. – Я должен вскорости вернуться на место.

– Понял. Какие новости?

– Неважные. Сегодня из Москвы прибыл особоуполномоченный комиссар Шестаков...

– Николай Шестаков? – живо переспросил Чаплицкий.

– Он самый, Николай Павлович. Ему поручено организовать морскую экспедицию, чтобы перебросить сюда и в Мур-

манск сибирский хлеб. На Оби и Енисее скопилось свыше миллиона пудов...

Чаплицкий присвистнул:

– Ничего себе! Но ведь это невозможно!

– Почему?

– Миллер в прошлом году пытался это сделать с помощью английских ледокольных пароходов.

– А чем кончилось?

– Полным фиаско: прорвалось только одно судно, да и то вмерзло в материковые льды. Все коммерсанты, вложившие в это предприятие деньги, понесли большие убытки.

Гость хрипло засмеялся:

– Это действительно неосуществимо. Для английских торгашей и наших спекулянтов. Но где Миллер и где мы сейчас? Я согласен, до сих пор такая экспедиция никому еще не представлялась возможной. Но большевикам, к сожалению, удалось многое, что до них не удавалось никому.

Вернулся Берс. Чаплицкий, не знакомя его с посетителем, уселся верхом на стул, упер лицо в ладони, задумчиво сказал:

– Мы не можем этого допустить! Если они доставят сюда хлеб – нам конец...

Гость закурил, неспешно заметил:

– Я еще не все сказал. Они планируют часть хлеба, масла, сала, пушнины выбросить на европейский рынок... Это конец всему белому движению.

– Да. И еще – это начало конца Запада, – мрачно сказал Чаплицкий. – Но на Западе это пока не очень ясно понимают. Чувства курицы, которая уже находится в кипящей кастрюле, они представляют себе чисто умозрительно...

Гость вскочил, вскинул кулаки:

– Как же они могут не понимать, что у нас творится?

– Буржуазия по природе своей безыдейна. А потому безнравственна, – зло уронил Чаплицкий. – Она жаждет только сиюминутных барышей. И в конце концов, в результате – она слепа, поскольку, давая передышку большевикам, готовит себе погибель!

Повисла тяжелая пауза. А в коридоре плотно прильнул глазом к замочной скважине Солоницын.

Гость тихо засмеялся:

– Безыдейна, говорите, буржуазия-то? А вы, Петр Сигизмундович, не записались, часом, в РКП(б)?

– Пока нет, – серьезно сказал Чаплицкий. – Я просто трезво смотрю на вещи. Краснопузые предложили черни такую стройную и привлекательную программу, которую наш мир никогда не сможет им пообещать. Мы им приказывали умирать за нас, а большевики предложили им жить для себя.

– Надеюсь, вас еще не увлекла идея строительства новой прекрасной жизни для черни?

– Перестаньте фиглярствовать. Сейчас меня занимает вопрос, как не дать им привезти хлеб. – Чаплицкий расхаживал по горнице, задумчиво потирая лоб. – Нет, хлеба я им

не дам, пусть вымрут, гниды, все до единого!

– У вас есть для этого реальные средства, господин капетан?

Чаплицкий стукнул кулаком по столу:

– Они существуют объективно: неведомая ледовая трасса, бескормица, нет топлива, исправных судов... – Закурил и добавил уже более спокойно: – А мы должны все эти сложности сделать непреодолимыми. Чтобы караван вообще не смог выйти.

Пришедший долго молчал, потом медленно сказал:

– А если они все-таки преодолеют эти непреодолимые препятствия? Они ведь нам уже не раз показывали, как надо преодолевать непреодолимое.

Чаплицкий засмеялся:

– Похоже, что это вы записались в РКП(б), милый мой!

– Нет, серьезно?

– А если серьезно, то существует английский флот, наконец! – Он раздраженно фыркнул: – В конце концов, их это, черт побери, тоже касается!

Гость покачал головой:

– Англия сейчас на открытую войну не пойдет. А нападение на мирный караван – это война. Их так называемый пролетариат будет возражать...

– Ерунда! – Чаплицкий решительным жестом отмел это предположение. – Английский флот – хранитель самых старых традиций государственного пиратства.

– Не понял?..

– Для того чтобы за полчаса уничтожить караван, крейсеру «Корнуэлл» вовсе не нужен «Веселый Джек» на гафеле. И британский лев тоже. Просто неизвестное военное судно неустановленной государственной принадлежности.

– Вы думаете, они на это пойдут?

– Еще как! Не забывайте: в России пропадают миллионы их фунтов стерлингов.

– Ну что ж. Может быть. Посмотрим. Да, позвольте полюбопытствовать: вырезанный патруль – ваша работа?

Чаплицкий криво ухмыльнулся:

– Был грех.

Гость восхищенно покачал головой:

– Чисто сделано. Но в порт не показывайтесь, Петр Сигизмундович. Там предстоят крупные облавы.

– Хорошо. Теперь следующее: от человека, которого я послал за кордон, нет вестей?

– Неужели я молчал бы об этом, Петр Сигизмундович! – с упреком воскликнул гость. – Правда, еще рано. У нас в запасе имеется по крайней мере неделя.

– Имеется, – согласился Чаплицкий. – Но если не будет сведений, через неделю придется посылать нового...

А Леонид Борисович Красин в это самое время принимал в Стокгольме группу шведских рабочих.

Резиденция советской делегации находилась в неболь-

шом, скромно обставленном помещении с высокими светлыми окнами.

Пожилой швед с вислыми седыми усами обратился через переводчика к Красину с короткой речью, которую закончил словами:

– Мы поздравляем вас, товарищ посол, с подписанием контракта. Мы, рабочие фирмы «Нюдквист и Холм», с большим волнением переживали все этапы переговоров...

В разговор включился его товарищ – коренастый, спортивного вида рабочий:

– Мы, товарищ посол, оказали на владельцев фирмы все свое влияние – политическое и экономическое, – чтобы добиться успеха в прорыве экономической блокады Советской Республики...

Красин пригласил гостей к столу:

– Друзья, я не могу угостить вас шампанским – хотя наш успех того стоит, но все деньги ушли на покупку паровозов. А вот русского крепкого чая с клюквенным вареньем напьемся вдоволь!

Швед торжествующе выбросил вперед руку:

– Тысяча паровозов для революционной России! Ваш чай покажется нам вкуснее шампанского! Дин скооль! Мин скооль! Ваше здоровье!

– За нас всех, товарищи! – провозгласил Красин. – Вы себе и не представляете, какую оказали нам помощь своей поддержкой, как мы ее ощущали все время, как нам было

это необходимо, дорого и важно!

– Мы делали общее пролетарское дело, – сказал коренастый швед и прихлебнул горячего чая из чашки. Обжегся, замотал головой: – Крепко! Крепко! – И по-русски: – Горячо!

– У нас нет шампанского, – смеялся Красин, – но с сегодняшнего дня мы, советские купцы, имеем кредит на сто миллионов крон.

– Мы слышали, – подтвердил пожилой. – Шведский банк принял ваш залог на двадцать пять миллионов.

Отворилась дверь, и вошел Виктор Павлович Ногин. В руках он держал телеграфный бланк.

– Леонид Борисович, – сказал он радостно. – Ильич поздравляет нас с первыми торговыми соглашениями...

Красин представил Ногина шведским рабочим, взял у него из рук депешу, просмотрел ее. С улыбкой объяснил гостям:

– Ильич просит нас не забывать за крупными делами о закупках пил, топоров и кос.

Шведы переспросили переводчика о чем-то. Он ответил им и пояснил Ногину и Красину:

– Шведские товарищи поражены тем, что премьер-министр громадной страны помнит о таких мелочах.

– Ах, дорогие друзья! Это для нас сейчас совсем не мелочи, – покачал головой Ногин. – Наша промышленность разрушена войной и интервенцией. В одном только Петрограде

закрыты и бездействуют шестьдесят четыре крупных предприятия, даже такие, как Путиловский и Сестрорецкий заводы, фабрика «Красный треугольник» и другие. Чтобы восстановить промышленность, надо накормить народ. А чтобы накормить народ, требуется обеспечить самым необходимым деревню. Поэтому Владимир Ильич Ленин сам помнит и нам постоянно напоминает о топорах и косах...

Красин снова разлил по чашкам чай, добавил в розетки варенья и сказал гостям:

– Вот, дорогие товарищи, вы свидетели тому, как мы сегодня с огромным трудом покупаем пилы, гвозди, косы, стекло. Запомните и другим расскажите, и взрослым, и детям: мы еще продемонстрируем всему миру невиданные, неслыханные чудеса технического прогресса! – Он повернулся к Ногину: – Виктор Павлович, подготовьте, пожалуйста, товарищу Ленину сообщение, что уже закуплено и будет доставлено в Ревель достаточное количество пил и топоров...

– А кос? – спросил Ногин с подковыркой.

И Красин ответил грустно:

– Кос пока что больше полумиллиона достать не удалось. Но мы будем стараться...

Апартаменты генерала Миллера в лондонской гостинице «Виктория» были приспособлены под его штаб.

Торопились куда-то затянутые в ремни офицеры, шелкающие каблуками служащие, адъютанты с осиными талия-

ми, праздно суетящиеся среди шикарной гостиничной обстановки, – все они были похожи на статистов какой-то нелепой оперетты. Во всем чувствовался налет придуманности, ненужности, игры прогоревшего театра при пустом зале.

Прапорщик Севрюков смотрел с интересом и недоумением на лощеного Миллера, протиравшего белоснежным платком стеклашки пенсне.

Закончив эту процедуру, бывший главнокомандующий спросил покровительственно:

– И что, прапорщик, вы так и пересекли границу с собаками на нарах?

– С вашего позволения, на нартах, господин генерал-лейтенант!

– А ваш спутник?

– Подпрапорщик Енгальчев скончался по дороге, – криво оскалился Севрюков. – Двоим, господин генерал-лейтенант, такой путь не пройти...

Миллер испуганно оглянулся на сидевшего обочь генерала Марушевского. Тот понимающе кивнул, встал из глубокого кресла, перекрестился:

– Царствие небесное ему! Важно, что Севрюков дошел и у нас теперь существует канал связи с Архангельском. Поздравляю вас капитаном, голубчик! Знайте, что родина вас не забудет!

Потирая обмороженные черные щеки, Севрюков сказал:

– Это уж точно! Мы там все такого наворотили, что она

нас долго не забудет.

Миллер важно кивнул:

– И прекрасно! Шагреневую кожу России сжирает заживо зараза большевизма. И только огнем и железом можно остановить эту заразу. – Миллер резко повернулся к Севрюкову: – Капитан Севрюков, я намерен вас использовать при штабе для *особых* поручений. Надеюсь, вы все понимаете и вас не испугают никакие испытания?

– Мне пугаться поздно, господин генерал-лейтенант, – равнодушно сказал Севрюков. – Только пускай поручения здесь будут. Назад больше не пойду.

Генерал Марушевский произнес с глубоким вздохом:

– Мне кажется, вы, Севрюков, недооцениваете здешних сложностей. Вы еще не огляделись, не знаете, что все есть – и риск, и опасность...

– Ерунда! – отмахнулся Севрюков. – Здесь людишки на овсяной протирке да на жидком чае выросли. А там – тайга, человека даже лютый зверь опасается. Мне тут любой как комнатный кобелек мартовскому волку. На один шелк...

В огромном заледенелом цехе судоремонтного завода шло собрание рабочих, матросов и красноармейцев архангельского гарнизона. В цеху было неуютно – на всем виднелись следы разрухи и запустения.

От застоявшегося нестерпимого холода все беспрерывно притопывали сапогами, валенками, хлопали рукавицами,

терли щеки.

На сбитой из досок трибуне шеренгой стояли Шестаков, Самойло, Болдырев, губернские начальники и армейские командиры.

– Товарищи! Друзья! – обратился Шестаков к собравшимся. Был он, несмотря на унылую стылость цеха, румян, весел, энергичен, а шапку меховую держал в руке. – Владимир Ильич Ленин, выступая несколько дней назад на Девятом съезде Российской Коммунистической партии большевиков, сказал: «Мы не обещаем сразу избавить страну от голода. Мы говорим, что борьба будет более трудной, чем на боевом фронте. Но она нас более интересует, она составляет более близкий подход к нашим настоящим основным задачам. Она требует максимального напряжения сил, того единства воли, которое мы проявляли раньше и которое мы должны проявить теперь». Вот что сказал, товарищи, Ильич всей революционной России...

В зале дружно зааплодировали.

Шестаков помахал рукой, призывая к тишине.

– Нас, друзья, эти слова вождя касаются в первую очередь, – продолжил он. – Ведь именно от нас зависит – избавим ли мы сотни тысяч людей от мук голода. Мы здесь должны с тем же мужеством, с которым сражались с белогвардейцами и наемниками международного капитализма, сделать все, от нас зависящее, чтобы хлеб был доставлен из Сибири. Никто не скрывает трудностей этого дела. Но мы преодолее-

вали и большие трудности...

Снова раздались аплодисменты. Шестаков улыбнулся:

– Поэтому в экспедицию набираются только добровольцы. И я не сомневаюсь, что мы победим так же, как побеждали на боевых фронтах! Ура-а, товарищи!

Матросы, солдаты, заводские рабочие дружно подхватили: «Ура-а!», «Даешь сибирский хлеб!», «Записы-ва-ай»...

Шестаков, несмотря на мороз, был возбужден, от головы его валил пар, он легко двигался по помосту, энергично махал шапкой:

– Товарищи! Чтобы доставить хлеб, нужны суда. Судам нужен уголь. Вместо судов мы имеем только брошенные белогвардейцами дырявые, переломанные, ржавые самотопы. Но наши враги зря посчитали, что восстановить их нельзя. Поэтому первая наша задача – вопреки представлениям мировой белогвардейщины – восстановить эти суда, классно отремонтировать их. Второе – добыть любой ценой уголь... Имеется его пока что на складах всего около тысячи тонн.

Из толпы раздались крики:

– Как же ты их восстановишь? Завод-то стоит...

– Запчастей нет, однако...

– Уголь откуда-то возьмешь? Из-под ногтей нешто?

– Ти-иха! Дайте говорить человеку!...

Шестаков сделал стремительный шаг к самому краю дощатой трибуны:

– Мы! Мы сами пустим завод! Надо, чтобы завтра сюда

пришли все моряки и солдаты, у кого есть хоть какие-нибудь технические специальности, – слесаря, электрики, кузнецы, плотники, котельщики, токаря, клепальщики. У кого нет в руках ремесла, пусть тоже приходит, подучим на скорый лад. Я уверен: вместе с рабочими завода мы за неделю пустим все цехи и начнем ремонт судов...

– А уголь?

Шестаков рубанул рукой перед собою:

– Объясняю, внимание! Час назад я получил из Лондона телеграмму от народного комиссара Красина. Он сообщает, что советская торговая делегация ведет там переговоры о закупке парохода с углем. Да и мы тут вместе поскребем по сусекам. Ведь каждая горсть угля – это кусок хлеба, каждое ведро угля – спасенный от голодной смерти человек!..

По узким почерневшим доскам тротуара Чаплицкий и Берс, кутаясь в башлыки, прошли в столовую № 3 – бывшее процветающее питейное заведение братьев Муратовых.

Здесь и сейчас было полно людей, по виду – типичных обитателей портовых трущоб.

Толкотня, гам, теплая вонь.

Посетителей лениво обслуживал Федор Муратов, а старший брат Тихон царил за буфетной стойкой, разглядывая людей с безразличным отвращением.

Чаплицкий и Берс устроились в углу за свободным столиком, осмотрелись по сторонам.

Берс сказал с ухмылкой:

– Все, как в трактире Тестова.

– Или наоборот – как в ресторане «Стрельна», – поморщился Чаплицкий.

– Спросите у них, Петр Сигизмундович, пашот с трюфелями, землянику, черный кофе. И сигару, – паясничал Берс. – Рюмку арманьяка, бокал шампанского, бенедиктин... Сил нет, как жрать хочется!

– Спрошу, – неожиданно покорно согласился Чаплицкий.

К столу подошел Федор Муратов, равнодушно глядя поверх их голов, сообщил:

– Гуляш из тюленя, вареная треска, капустная солянка, щи. Все.

Чаплицкий сбросил башлык, негромко проворчал:

– Не больно ты меня балуешь, брат Федор! Вижу, что не загуляешь у тебя...

Федор всмотрелся в лицо Чаплицкого, узнал, тихо ахнул:

– Господи, никак Петр Сигизмундович? Вы же... вас же... Господи, радость-то какая!..

Чаплицкий открыто, сердечно улыбнулся:

– И у меня сегодня радость, Феденька. Иди скажи Тишке – пусть накроет нам в задней комнате чего бог послал.

Федор опрометью бросился к старшему брату. Берс воскликнул с нескрываемым восторгом:

– Чаплицкий, вы гений! Не знаю, как насчет трюфелей, но человеческой едой, похоже, нас накормят.

Чаплицкий похлопал его по плечу:

– Были здесь и трюфели когда-то... А что касается человеческого еды, то мы ее заслужили, геноссе Берс. Сегодня у нас праздник. Вы себе даже не представляете, до какой степени я гений... – Чаплицкий сделал самодовольную паузу и закончил: – Севрюков добрался до места, он уже в Лондоне!

– Что вы говорите, Чаплицкий!

– Да, да! Связь установлена. Вчера поздно вечером пришло сообщение от Миллера...

Берс подозрительно посмотрел на него:

– Интересно, но недостоверно. Вы – здесь, Севрюков – в Лондоне, а вчера у вас – сообщение?

– Ну и что?

– Это похоже на сочинения господина Жюль Верна.

Чаплицкий засмеялся:

– Вы мне не верите?

– Я-то вам верю, – пожал плечами Берс. – Но вы, судя по вашему рассказу, совсем не доверяете мне!

Чаплицкий закурил, выпустил в потолок клуб дыма:

– Берс, не говорите красиво. Вы мне верите, и я вам доверяю. Но не хочу обременять вашу память лишними сведениями. Если вам случится попасть в подвалы Чека, сами же будете меня благодарить.

– За что? – удивился Берс.

– За то, что вам вспомнить нечего...

К их столу подошел оборванный опухший человек в дра-

ных офицерских сапогах, долго недоверчиво всматривался в Чаплицкого и наконец бросился к нему:

– Петр Сигизмундович, голубчик! Дайте обнять вас, господин каперанг!

– Тсс-ть! – оборвал его Чаплицкий, резко толкнул его в живот, и тот плавно плюхнулся на стул.

Чаплицкий наклонился к нему и сказал сквозь зубы:

– Еще раз на людях обнимешь – застрелю! Дурак! Твое счастье, что я тебя уже давно высмотрел, Колыванов.

– Слушаюсь! – подавленно прошептал Колыванов.

А Чаплицкий кивнул на него ротмистру:

– Полюбуйтесь, Берс, на нашу гвардию: поручик Семеновского полка Алексей Дмитриевич Колыванов. – И, повернувшись к офицеру, гневно бросил: – В каком вы виде?!

– А что делать? Как жить? – Из глаз Колыванова по опухшему лицу потекли пьяные бессильные слезы. – Документов нет, денег нет, в комендатуру идти боюсь – в расход могут пустить. От голода памороки случаются...

Он высморкался в грязную серую тряпицу, стыдливо упрятал ее в карман, сказал обреченно:

– Каждый день в облаву попасть рискуешь... Разве что самогоночки стакан засосешь – на душе отпускает...

Чаплицкий сказал строго:

– Стыдитесь, Колыванов, вы же офицер! Разве можно так опускаться?

Колыванов резко отшатнулся от него. Потом снова нахло-

нился к Чаплицкому и сиплым шепотом проговорил:

– Да вы зря, Петр Сигизмундович, голубчик... Зря срамите вы меня... у вас ведь одно передо мною преимущество – совесть у вас молчит...

Зло прищурился Чаплицкий:

– А ваша совесть бьет в набат... пустых бутылок?

Колыванов медленно покачал головой:

– Моя совесть, как крыса, в груди ворошится... Все сердце выела. Только она... да страх остались, да срам горький за все, что мы тут наворотили...

– Что ж мы такого наворотили? – неприязненно пробормотал Чаплицкий.

А Колыванов вдруг пьяно выкрикнул:

– Родину-мамку мы насильничали, вот что...

– Прекратите истерику, ну! – прошипел Чаплицкий. – Баба несчастная.

Колыванов замолчал, опустил голову.

К столу подошел Федор Муратов, наклонился к Чаплицкому:

– Петр Сигизмундович, извольте пожаловать в кабинет, ждет вас брат Тиша.

Чаплицкий добро засмеялся, хлопнул по плечу Колыванова:

– Не тужите, поручик, все еще будет в порядке. Сейчас вас накормят, дадут выпить, отогрейтесь, а потом вместе пойдем отсюда... – Он встал, велел Муратову: – Федечка, приласкай

моего друга...

Когда отошли на несколько шагов, Чаплицкий быстро шепнул трактирщику:

– Какой-нибудь варнак у вас найдется?

Муратов склонил голову:

– Завсегда под рукой, Петр Сигизмундович.

– Тогда, Федя, с этим... «другом» моим... Закончи. Со-
всем... Понял?

– Понял!

Они вошли в заднюю комнату трактира – «кабинет», – где их встретил с распростертыми объятиями Тихон Муратов:

– Дорогим гостям честь и место!

Чаплицкий, обнимая хозяина, сказал Берсу:

– Знакомьтесь, ротмистр. Это мой друг, советчик и вер-
ный помощник Тихон Савельевич Муратов. – И обернулся к
Тихону: – Что, Тиша, плохо живем?

– Хуже некуда, Петр Сигизмундович. Голодуют людишки
шибко, до края дошли.

Чаплицкий бросил насмешливо:

– А тебе их, Тиша, жалко?

Муратов с жаром возразил:

– Не-е! Чего их жалеть! Это им только помстилось, будто
все – всем стадом, значит, – могут сладко есть да пить. Не
было так никогда и не будет. Звереют они, однако. Боюсь,
конец нам всем, ежели избавление не придет.

– Вот я и пришел, чтобы мы вместе приблизили час избавления, – серьезно сказал Чаплицкий.

– Мы с братом всегда готовые, – твердо заверил Тихон.

Чаплицкий остро сощурился:

– И в случае беды Чека не испугаешься?

Тихон махнул рукой:

– Э, пустое... В Писании сказано: «Не по своей воле ты создан, не по своей воле ты родился, не по своей воле ты живешь, не по своей воле и помрешь...»

Тихон истово, торжественно перекрестился, глядя на угол, где раньше висели образа.

Чаплицкий встал, обнял его, троекратно расцеловал. Подумал, сказал:

– Большевички, Тихон, хотят, как говорили древние люди, «агнаэ эт игнис интердикцию, хок эст эксилиум» – запретить нам пользоваться огнем и водой...

– Это как? – не понял Тихон.

– Ну, изгнать нас. А еще лучше – совсем изничтожить. Только хрен у них это получится. Так что, давай к делу, Тихон.

– Слушаю, Петр Сигизмундович!

– У тебя здесь место людное, на юру, много людей шастает. Место – лучше не надо! Здесь у нас будет и штаб, и арсенал, и сборный пункт верным людям.

– А что мыслишь себе, Петр Сигизмундович?

– А мыслю я вот что. Среди людишек – голод, тоска, бро-

жение. За весну-лето дождют остатки продовольствия, уже и гуляша из тюленины не получишь – ни за какие деньги. Так, нет?

– Так точно.

– Ну, вот большевики и хотят морским проходом пригнать сюда сибирский хлебушко. Если мы им это поломаем, к осени начнут жрать друг друга – им из Центра везти не на чем... Да и нечего... Тогда и крикнем восстание по всему Северу. Все на него поднимутся!

Тихон раздумчиво кивнул:

– Дай-то господи! А Англия как?

– Поможет.

– Ну, с Богом! С Богом! Прошу вас к столу...

Стол, будто скатерть-самобранка, был уже уставлен дорожными яствами, совсем, кажется, позабытыми напитками. Тихон откупорил бутылку нежинской рябины на коньяке, принялся разливать по рюмкам.

Чаплицкий, обняв его за плечи, спросил со смехом:

– Тиша, помнишь, как мы с тобой по документам серба Ясковича отправляли за границу Александра Федоровича Керенского? Дурня этого?..

– Как не помнить! А что?

– Глупость сделали, надо было его повесить.

– А что – мешает, нешто?

– Да нет, просто было бы приятно вспомнить!

Тихон захохотал:

– Это уж да! Это уж точно!

Чаплицкий согнал с лица улыбку.

– Ну а теперь за работу, Тихон. Мне срочно нужны верные люди...

– Много?

Чаплицкий посмотрел ему в глаза, прищурился, доверительно сказал:

– Ох, много, Тиша. Сколько можно – всем дело найдется. Я думаю, у вас с Феденькой есть на примете...

– Есть, – твердо ответил Тихон. – Хорошие люди. И не только на примете.

– Это как? – недопонял Чаплицкий.

– Несколько господ офицеров от корпуса отстали... У нас столуются... а кой-кто и кров над головой имеет... Есть и другая публика – штатские, но боевые...

– Во-он как? – Чаплицкий был очень доволен.

Тихон преисполнился гордостью:

– А как же! Небось народ мы крепкой закваски! Если дозволите – представлю.

– Очень хорошо, Тиша. Только не всех сразу. И насчет меня покороче: начальственный, мол, господин, необходимыми полномочиями облечен, и... хватит с них.

Тихон развел руками, показывая, что уж ему-то подобная азбука ни к чему.

Он усадил за стол дорогих гостей, убедился в том, что у них прекрасный аппетит, выпил с ними рюмку рябиновой

настойки и умчался.

Не прошло и десяти минут, как он вернулся с двумя людьми: высоким, подтянутым, опрятно одетым блондином и полным, в крестьянском армяке, с большой лысиной и мешками под глазами.

Оба отличались заметной военной выправкой, знакомясь, разом щелкнули каблуками:

– Поручик Литовцев Всеволод Николаевич...

– Капитан Сударев Иван Андреевич...

Чаплицкий поднялся, гостеприимно пригласил их к столу:

– Прошу, господа... Приятно познакомиться...

Трапеза еще не вошла в силу, когда двери общего зала столовой № 3 распахнулись, пропуская чекистов и наряд красноармейцев.

Чекист в желтой кожаной тужурке громко объявил:

– Спокойно, граждане! Оставаться на местах: проверка документов...

Несмотря на этот призыв, в зале сразу же возник шум, гам, поднялась суматоха: многим из столующихся проверка документов была ни к чему.

Воспользовавшись суетой, Федор Муратов проскользнул в «кабинет», крикнул:

– Облава! Проверка документов!

Неторопливо поднялся Тихон:

– Ш-шш, Федя, не шуми. Не извольте беспокоиться, господа. Щас я всех отсюда выведу. Есть ход...

Берс, надевая пальто, ругался:

– Такой ужин пропал!..

– Не пропал, – торопливо возразил Чаплицкий, распахивая по карманам яства.

Уже на выходе остановился, напомнил младшему Муратову:

– Федя, не забудь про человечка, что я тебе показал...

В одной руке у него была курица, в другой – револьвер.

Все последующие дни Чаплицкого можно было видеть не только в столовой № 3 – он появлялся и в порту, и в цехах судоремзавода, и около радиостанции.

Энергичный, озабоченный и в то же время всегда веселый, он деловито разговаривал с самыми разными людьми. С некоторыми он приходил в заднюю комнату заведения братьев Муратовых, закрепляя бокалом вина только что возникшую связь...

Никому и в голову бы не пришло, что эта активная деятельность имеет какое бы то ни было отношение к убийству неизвестного офицера, – впрочем, позднее он был опознан как штабс-капитан 186-го пехотного полка Владимир Афанасьевич Суров; чекисты, обнаружившие тело Сурова, решили, что он был ограблен и убит бандитами, которых в то смутное время было более чем достаточно...

В действительности все обстояло еще проще: штабс-капитан наотрез отказался сотрудничать с Чаплицким и, на свою беду, не смог скрыть симпатии к революции. Это стоило ему жизни.

И уж совсем никого не удивила гибель окончательно опустившегося, спившегося поручика гвардейского Семеновского полка Алексея Дмитриевича Колыванова.

Патруль нашел его в овраге с перерезанной глоткой, и рыжий худой красноармеец, равнодушно цыкнув щербатым зубом, бросил: «Офицерье проклятое... Черт с ним: собаке – собачья смерть...»

Чаплицкий действовал.

В нетопленной комнате бывшего коммерческого архангельского училища сидели на лавках, на столах, просто на полу человек тридцать матросов, солдат, рабочих.

За первым столом, на котором чадила масляная плешка, закутавшись в теплый платок, сидела Лена Неустроева.

Она проводила культчас: с выражением читала книгу вслух.

Шестаков тихо приоткрыл дверь и присел сзади на освобожденный белобрысым молодым матросиком табурет. Огляделся по сторонам, с удовольствием заметил, с каким интересом слушают Лену бойцы.

А она, отложив книгу, – не то по памяти, не то своими словами – взволнованно рассказывала, вглядываясь в мерца-

ние людских глаз, полускрытых от нее потемками:

– Поклонился тогда Емельян Пугачев на все четыре стороны и сказал голосом, чуть дрогнувшим: «Прости меня, народ русский, если согрешил в чем перед тобою!..» Сорвали палачи с него рубаху, повалили на деревянный настил, молнией блеснул над притихшей Болотной площадью топор, глухо стукнул...

Закончился рассказ, повскакали бойцы, обступили Лену.

– Эх, Елена Константиновна, говорил же я – не надо ему было под Оренбургом топтаться! – крикнул белобрысый паренек, уступивший Шестакову табуретку.

Пожилой бородатый солдат возразил:

– Тоже мне, Суворов нашелся! Мудер больно!

– А что? Если бы он от Казани сделал марш-бросок на встречу корпусу Михельсона? А-а? – поддержал белобрысого широкоплечий рябоватый матрос.

– На-а! А Чернышевскую армию на фланге куда дел? Ему надо было сразу на Урал прорываться. Там и места побогаче, и сразу всем крестьянам – вольную, горнорабочим – свободу! – не сдавался бородатый.

Раздалось сразу несколько голосов:

– Дык Хлопушу в тех местах уже прижали? Куды ему было деваться?

– Раньше надо было! И объявлять союз пролетариев и крестьян.

– Иностранцев ширше звать нужно было: и башкирцы, и

калмыки, и мордва – все помогнули б. Я их знаю!

– Я в тех местах Колчака да белочехов колошматил. В Орские заводы Пугачу бы идтить.

Лена и Шестаков возвращались по тихой заснеженной улице. Погода стояла хорошая, ясная, и они шли не спеша – гуляя. Изредка, порывами налетал ветер и трепал на высокой круглой тумбе обрывок давнишней афиши.

Лена мельком взглянула на нее и остановилась:

– О господи!.. Вы прочтите только, Николай Павлович!

На остатке афиши можно было прочесть объявление, напечатанное замысловатыми готическими буквами:

«...ОГРАММА ВЫСТУПЛЕНИЯ: ОБРЕЗ РУКИ
ИЛИ ОТРЕЗ ГОЛОВЫ, С КРОВОТЕЧЕНИЕМ, НО НЕ
НАСМЕРТЬ!»

Шестаков расхохотался:

– Вот бы вашим слушателям, Леночка, предложить такую программу!

Лена с улыбкой сказала:

– Как раз этим их не удивишь. Но во многих вещах они как дети...

– Да, – согласился Шестаков. – Однако заметьте, что они все-таки сделали то, что не удалось Пугачеву. В их соображениях по тактике войны с царизмом – огромный собственный опыт. И поражений, и побед.

– А у меня нет никакого опыта, – грустно отозвалась Ле-

на. – Вернее, мой опыт никому – да и мне самой – не нужен. И научить ничему не может.

– У вас зато есть замечательной силы характер, – снова засмеялся Шестаков.

Лена замахала на него руками:

– Какой там характер! Я держусь, как могу, чтобы не видно было моего страха. Я так вам завидую...

– Мне? – удивился Шестаков.

– Вы такой молодой...

– Леночка, какой же я молодой?! Александру Невскому на Чудском озере было двадцать три года! А я в эти годы еле в штурмана на эсминце попал.

Лена взяла его под руку, посмотрела в глаза:

– Я очень люблю, когда вы смеетесь. Вы такой сильный, уверенный в себе, все знающий... А когда смеетесь, глаза у вас детские!

Шестаков попытался отшутиться:

– Мудрости в них маловато... Житейской!

Лена покачала головой:

– Ее не бывает, житейской или абстрактной. Мудрость – это познание добра и зла. На наш век столько зла пришлось! Где добра собрать столько же?

– Леночка, хороших людей в мире больше, и они заслуживают счастья, – ласково сказал Шестаков. – Надо им только помочь – а вы им уже помогаете...

Лена долго шла молча, потом повернулась к Шестакову:

– Мне самой помогать надо, Николай Павлович. Не знаю, может быть, это глупо, что я говорю вам...

Она смущенно замолчала.

– Так что именно вы мне говорите? – попытался поддержать ее Шестаков.

– Ну, в общем... Только с вами я в последнее время чувствую себя уверенно, – решила Лена.

Шестаков остановился, долго смотрел на нее, потом обнял и крепко прижал к себе.

– Ну, что же вы молчите? Скажите хоть что-нибудь! – попросила Лена.

Шестаков горячо воскликнул:

– Лена! Мы первые люди только что родившегося мира! Мы его сами творим для себя! И знаешь... мне с тобой прекрасно, как никогда не было в жизни!..

Лена поцеловала его в обветренные губы и сказала с улыбкой:

– Только очень холодно и голодно...

Шестаков подхватил ее на руки и помчался по дощатому тротуару. Ему было легко. И он закричал на всю улицу:

– Лена, любовь моя! Мне хорошо, хорошо, хорошо!

Вдоль Темзы по темному гладкому асфальту неспешно катил автомобиль – черный лимузин «даймлер», длинный и солидный. В закрытой задней кабине его, отделенной зеркальным стеклом от шофера, сидели Красин и Ногин.

Ногин говорил с горечью:

– Они хотят взять нас измором: нам – вежливые поклоны, любезные уверения в желании торговать и мирно соседствовать...

Красин кивнул:

– А Врангелю – пароходы с пулеметами, танками, продовольствием и обмундированием!

– И не только Врангелю – всем белогвардейцам! По указанию правительства Америки президент зерновой палаты отпустил представителю белогвардейцев в Вашингтоне для отправки на Север девять тысяч тонн пшеницы! С угольных складов – десять тысяч тонн угля! Обмундирование! Снаряды, самолеты, средства связи!

Красин, элегантный, в светлой тройке, с резной тростью, закурил сигарету, задумчиво посмотрел в окно:

– И все-таки, я думаю, мы их обыграем. Как говорят борцы – дождем в партере...

– Да-а? Вы так полагаете, Леонид Борисович? – не очень уверенно переспросил Ногин.

– Один очень умный человек сказал как-то, что у Англии нет постоянных друзей, нет постоянных врагов, а есть лишь постоянные корыстные интересы...

Он осторожно постучал ногтем по сигарете, стряхивая в пепельницу столбик пепла.

– Правнуки праотцев капитализма на всем хотят урвать свой клочок. На всем абсолютно, без исключения, что-то вы-

хитрить и выжугить...

— Но нас они хотят обжуливать, вообще ничего не давая взамен! — с возмущением воскликнул Ногин.

— А мы здесь зачем? На то и шука, как говорится, в море, чтобы карась не дремал. По поводу моего отчета о встречах с представителями британского правительства Владимир Ильич через Чичерина прислал шифrogramму: «Мерзавец Ллойд-Джордж надувает вас безбожно и бесстыдно, не верьте ни одному его слову и надувайте его втрое».

Ногин расхохотался:

— Ай да Ильич! Он будто вместе с нами за столом переговоров в Уайт-холле сидел!

Красин приоткрыл окно и выпустил в него струю голубого дыма, сказал деловито:

— Надо создать у англичан ощущение, что инициатива уходит от них. Тогда поторопятся.

— А как вы это сделаете?

— Очень просто. Тут я нечаянно «обмолвился» об успехе торговых переговоров с Италией; там «ненароком» в газеты попала информация о деловых предложениях американских нефтяных тузов из Техаса; вчера шведский коммерческий пул «неожиданно» получает концессию, а сегодня мы встречаемся с главой «Закупсбыт Лимитед» господином Востротиным. И факт этот тоже не пройдет мимо внимания англичан...

Ногин посмотрел на Красина с восхищением:

– Ну, это уж мы постараемся! Леонид Борисович, а что за человек этот Востротин?

– О-о! Это гусь – будь здоров! – засмеялся Красин. – Бывший городской голова Енисейска – торгаш, ловкач, маленький, но очень ловкий политикан.

– Леонид Борисович, вы считаете, он и подобные ему что-то значат, могут нам помешать, имеют здесь какую-то силу?

– Имеют, и притом – немалую! Это люди особой закваски – сибирские кулаки. Они появились на Западе двадцать лет назад и завалили европейский рынок дешевыми и очень вкусными продуктами: маслом, сыром, прекрасной солониной. Я рассчитываю на их коммерческое воображение и природную хватку – всех этих торговцев из «Закупсбыта», «Союза маслоделательных артелей» и других кооперативов. После революции они перебиваются случайными сделками, и, если мы снабдим их традиционными российскими товарами, они себя покажут!...

Наконец и в Архангельск добралась скромная северная весна. Ослепительно яркое солнце подсинивало оседающие сугробы, теплый ветер сушил тротуары.

Первого мая весь город был в кумаче, весь город собрался на воскресник и устремился в порт, к судоремонтному заводу. На причальной стенке собрались сотни, тысячи празднично одетых людей.

И вот из затона судоремонтного завода плавно вышел пер-

вый отремонтированный за зиму ледокол – «Русанов». На борту его – штаб воскресника. Идут последние приготовления.

Шестаков распорядился:

– На «Малыгине» работами руководит Болдырев. На пароходе «Кереть» – военмор Щекутьев. На «Маймаксе» – военмор Оленин, на «Сибирякове» – военмор Захарченко. Здесь, на «Русанове», командовать будет капитан дальнего плавания Неустроев...

– А вы сами-то где будете? – совсем по-домашнему спросил Неустроев.

– Я буду на ледоколе «Седов», – ответил Шестаков, – а вас, Константин Петрович, очень прошу – скажите людям несколько слов.

Неустроев подошел к борту, помахал рукой. Внизу, на стенке, гомон потихоньку начал успокаиваться, люди с интересом смотрели на старого капитана.

А он долго молчал, внимательно глядя на этих исхудалых, черных от копоти и недосыпания, но полных энтузиазма людей.

Снял шапку, и ветер сразу же растрепал его длинные седые волосы.

– Товарищи! Спасибо вам за все, что вы смогли... – сказал он в мегафон, вроде бы негромко, но слышали его все, и на стенке воцарилась тишина. А Неустроев сказал горячо и сердечно: – Дорогие друзья, спасибо вам за то, что вы пе-

режили эту зиму... Спасибо вам за то, что, голодные, неодетые, усталые, больные и раненые, вы пришли в разгар зимы в мертвые цеха, затоны, доки и своим душевным жаром дали им жизнь... Спасибо вам, русские умельцы и мастера, что вы поделились своими знаниями, мудростью и опытом со всеми молодыми товарищами...

– Ура-а-а! – прокатилось по пристани.

Неустроев горячо продолжал:

– Спасибо вам, солдаты и крестьяне, впервые взявшие здесь в руки инструмент, за то, что вы научились делу... Спасибо вам за то, что забыли о времени: за те двенадцать, а то и четырнадцать часов, которые вы здесь каждый день проводили, не зная отдыха, перекура, усталости...

Он посмотрел на Шестакова, и тот незаметно, но крепко, признательно пожал ему руку.

– Спасибо вам за то, что вы пришли сюда сегодня, в праздничный день, работать ради возрождения из пепла и руин русского революционного флота! – воскликнул он от всего сердца.

– Ура-а! Ура-а-а!! – раскатисто гремело на пристани.

Неустроев поднял руку.

– Пройдут годы, – с волнением крикнул он в толпу, – и могучий российский флот будет плавать не только вдоль побережья Ледовитого океана, от одного речного устья до другого, а пойдет напролом через матерые океанские льды до самого полюса! И тогда в день мирового триумфа и уваже-

ния благодарное человечество склонит голову перед славной памятью вашего неслыханного подвига!..

– Ура-а! Ура-а-а! Ура-а-а-а!..

Лена с искренней гордостью смотрела на отца. Шестаков подошел к ней, взял за руку, прошептал:

– Леночка, мы еще вместе двинем к полюсу. А?..

Длинный черный «даймлер» круто свернул с набережной Темзы, попетлял немного по узким улочкам делового Центра и притормозил у подъезда небольшого красно-кирпичного особнячка, в одном из помещений которого размещалась торгово-посредническая фирма «Закупсбыт».

Переговоры начались. За длинным полированным столом собрались Степан Андреевич Востротин, Павел Никонович Кушаков, Константин Иванович Морозов и другие члены правления «Закупсбыта».

Леонид Борисович Красин и Виктор Павлович Ногин сели напротив.

Востротин сразу же взял быка за рога.

– Господин Красин, мы, коммерсанты, стоим на каменистой почве реальности, – сказал он. – Иногда это жестковато и, конечно, неудобно, но гораздо надежнее, чем витание в воздушных замках политических эфемер... – Делец любил говорить «красно» – высоким, так сказать, слогом.

Красин усмехнулся:

– Ну, вот видите, как прекрасно! Большевики тоже пред-

почитают смотреть фактам в лицо.

Востротин наклонил голову, сказал душевно:

– Мы все – русские люди и в конечном счете заинтересованы только в благоденствии своего народа, какая бы форма правления ни сложилась в России...

Красин покивал ему в тон:

– Тем более, что мы все реалисты и отчетливо видим выбор, сделанный народами России.

На миг Востротин замялся и снова продолжил.

– Однако высокогуманные интересы, которые мы все разделяем, не должны подрывать коммерческие задачи нашего сообщества, а наоборот – должны всемерно их стимулировать, – формулировал он с гладкостью присяжного поверенного в имущественном процессе.

Ногин перебил его:

– Точнее говоря, «Закупсбыт Лимитед» должен получить свой нормальный капиталистический бонус? Правильно мы вас понимаем?

Востротин яростно воскликнул:

– Безусловно! Реквизиция наших активов в России нанесла нам громадный удар. Мы потеряли почти все и теперь хотим получить компенсацию в ходе наших торгово-комиссионных сделок!

Красин встал.

– Господа! Я буду с вами откровенен. Мне хочется верить в ваши гуманистические побуждения, однако сейчас мы все

коммерсанты и реалисты. Ваше желание сотрудничать с нами вызвано тягостным финансовым положением «Закупсбыта». Как говорят у нас в Сибири:

Солонинка – солона, а свининка – дорога.

Ты же, редечка-душа, хоть горька, да дешева...

Нам сейчас тоже трудно и больно, но это трудности и болезни рождения и роста. От вашего благоразумия зависит не превратить собственный социальный склероз в агонию всего вашего предприятия!

Раздались возмущенные протесты коммерсантов, некоторые повскакали с мест.

Красин воскликнул властно:

– Я прошу меня не перебивать и дослушать до конца в обмен на мою откровенность. Итак, мы по горло сыты бесконечными дипломатическими играми в Форейн-офисе и Уайт-холле. И предела этой говорильне не видно. Но к вам приехали сегодня с четкой целью: мы выйдем отсюда либо с окончательной договоренностью, либо с окончательным разрывом...

Морозов сказал невозмутимо:

– Не пугайте нас, господин Красин...

Красин широко улыбнулся:

– Да что вы! Просто у нас остается надежда удовлетворить наши интересы в какой-то другой фирме, вы же никогда не

получите контрагента, равного Советской Республике. Никогда, до скончания дней! Надеюсь, господа, что я обрисовал коммерческую ситуацию с исчерпывающей ясностью... Какие будут суждения?

После тяжелой паузы Востротин сказал:

– Соизвольте уточнить ваши конкретные деловые предложения, господин Красин...

Красин опустил на место.

– С удовольствием. Я уполномочен Советским правительством выдать «Закупсбыту» сертификат на ведение всех коммерческих операций для Сибирской хлебной экспедиции в устья Оби и Енисея.

Кушаков поинтересовался:

– Леонид Борисович, а какие принимаем на себя обязательства мы?

Красин быстро повернулся к нему:

– Вы закупаете у английских фирм – поскольку нам они не продают – сельскохозяйственные машины, инструменты, типографское и маслоделательное оборудование, химикалии, мануфактуру, галантерею и целый ряд других необходимых нам товаров. Вот их список...

Востротин взял список, мельком просмотрел его, отчеркивая отдельные позиции ногтем. Спросил:

– С этим ясно. А далее?

Красин пожал плечами:

– Далее? Срочно фрахтуете английские и норвежские суда

и перебрасываете эти товары в Мурманск и Архангельск.

Востротин прищурился:

— Фрахт в одну сторону?

Красин удивился:

— Зачем же? В Архангельске на эти суда будут перегружены хлеб, меха, волос, кожа, смола и другой экспорт, который доставит из Сибири наша экспедиция. Торговать так торговать!

Кушаков сказал задумчиво:

— Леонид Борисович, мы весьма наслышаны о вашем проекте доставить сибирский хлеб Северным морским путем. Хочу заметить, что я опытный коммерсант, старый судоводитель и полярник: участвовал в экспедиции Георгия Седова, снаряжал экспедиции Русанова и Брусилова. И потому с полной ответственностью заявляю: мне это представляется утопией. Подобный переход, я думаю, невозможен.

Красин покачал головой:

— Ах, господа, господа! Когда же вы отучитесь «с полной ответственностью» заявлять о том, что возможно и что невозможно для нашего народа! Сколько об этом говорено... Ничему вас жизнь не учит!

Константин Иванович Морозов взволновался:

— Но мы многим рискуем! Если у вас не получится, мы можем вовсе вылететь в трубу!

Красин решительно опровергнул:

— Вы ничем не рискуете! Ваши кредиты будет гарантиро-

вать Шведский банк. Это я вам заявляю уже не как коммерсант...

– А как?.. – поднял бровь Востротин.

– А как народный комиссар и член Советского правительства, – твердо сказал Красин. – Первого октября текущего года сибирский хлеб будет доставлен в Архангельск и перегружен на ваши суда. Итак?..

Купцы переглянулись. По-видимому, их сломил деловой напор Красина.

Востротин встал и с улыбкой воскликнул:

– А-а! Была не была! По рукам, многоуважаемый господин народный комиссар!

Ногин засмеялся:

– Вот так бы давно!

Кушаков, наморщив лоб, сказал деловито:

– Остается только уточнить бонус – процент отчислений в нашу пользу.

– Чтобы не обмануть ваши гуманистические побуждения, – уточнил Красин со смешком...

Почти в тот же час всего за несколько кварталов от «Закупсбыта» крупнейший лондонский финансист Иоаннес Лид принимал в роскошном кабинете своего офиса генералов Миллера и Марушевского.

На столе – кофе, коньяк, сигары.

Лид говорил по-русски:

– Я готов вас выслушать самым внимательным образом, господа. – Слова он произносил с еле заметным акцентом.

Покашливая от волнения, Миллер начал:

– Господин Лид, вы являетесь одним из тех западных финансистов, чьи интересы в огромной мере связаны с Россией...

Иоаннес Лид наклонил голову в знак согласия.

– Если я не ошибаюсь, господин Лид, стоимость вашего имущества в России превышает девять миллионов золотых рублей, – продолжал Миллер.

Пуская ровные кольца сигарного дыма, Лид слабо усмехнулся:

– Буржуа – люди подозрительные и суеверные. Они не любят, когда кто-нибудь считает их деньги...

Марушевский по-солдатски прямо сострил:

– Поэтому большевики, не считая, забрали все ваши заводы, фабрики и пароходства?

Лид продолжал усмехаться.

– Да, этим господам не откажешь в решительности, – спокойно сказал он. – А вы, как я понимаю, по-видимому, хотите предложить мне мое имущество обратно?

Миллер патетически воскликнул:

– Безусловно, господин Лид! Вы все сможете вернуть. Но сейчас нам нужна и ваша помощь...

– В чем она должна выразиться? – осторожно осведомился финансист.

– Нашему движению нужны средства, – сказал Миллер. Марушевский перебил его:

– Но еще больше нам необходимо ваше влияние в правительственных кругах Великобритании, – решительно сказал он и взял со стола сигару.

Лид протянул ему сигарный нож.

– В каком направлении должно быть использовано мое влияние?

Миллер выпалил:

– Нужно подготовить новую совместную русско-английскую экспедицию на Север России!

Лид выпустил три плотных колечка дыма, проследил за ними, последнее рассеял кончиком сигары. Сказал:

– Понятно... – Встал, неспешно прошелся по пушистому ковру, остановился напротив Миллера: – Как вы представляете это конкретно?

– Мы располагаем сильным, хорошо законспирированным подпольем в Архангельске, – сказал Миллер. – Оно сообщает, что большевики намерены в конце лета перебросить из Сибири миллион с лишним пудов продовольствия, накормить Север, а остальное распродать в Лондоне...

Лид присел на подлокотник кресла, спросил коротко:

– Что вы предлагаете?

Снова выскочил вперед Марушевский:

– Чтобы английский флот разгромил караван с хлебом и прочими товарами!

Сглаживая бестактность коллеги, Миллер сказал с пафосом:

– Чудовищный голод и болезни парализуют способность большевиков к сопротивлению, и англо-русский десант захватит Север России без всяких потерь!

– Но, помнится, подобные попытки уже предпринимались, – не без сарказма сказал Лид. – В конце прошлого года ваша армия насчитывала двадцать пять тысяч солдат и офицеров, если не ошибаюсь...

– Так ведь Англия... – гневно начал Миллер, однако Лид предостерегающе поднял палец, и генерал умолк.

Лид продолжал:

– Двадцать пять тысяч, если не ошибаюсь. Плюс офицеры-инструкторы войск стран Антанты. Плюс отряд датских ландскнехтов – свыше ста человек...

– Но ведь датчане ни в одном бою не участвовали! – жалобно воскликнул Миллер.

– Неважно, – сказал Лид.

– Как это – неважно? – возмутился Марушевский. – Если бы Антанта не эвакуировала регулярные войска...

Лид перебил его:

– Вместо них правительства Великобритании, Соединенных Штатов и Франции набрали достаточно много добровольцев. Мало того: были мобилизованы все русские за границей, даже бывшие военнопленные в Германии – около десяти тысяч воинов. Не так ли, господа?

– Но в Россию-то они так и не прибыли?! – с недоумением сказал Миллер. Разговор получался сумбурный, путанный, без ясных позиций.

– Могут прибыть! – заверил Лид. – И не только они: бригаду финских добровольцев обещал сформировать Маннергейм, в Бельгии готовится отряд авиаторов...

Марушевский вскочил со стула.

– Так о чем же мы спорим? – закричал он. – Польская армия Пилсудского не сегодня завтра войдет в Киев. Над всем югом России нависает армия генерала Врангеля! Поймите – скоординированный с трех сторон удар свалит большевистскую Россию окончательно! О чем мы спорим?

Лид отпил глоток коньяка, посмотрел бокал на свет, осторожно поставил его на стол, сказал задумчиво:

– Практически ни о чем. Поскольку план у вас, по-видимому, прекрасный. И по-моему, выполнимый. Но – без меня.

– Почему? – в один голос воскликнули Миллер и Марушевский.

– В ноябре семнадцатого года я встретился с Лениным...

– Вы – с Лениным? – удивился Миллер.

– Да. Я – с Лениным. Могу утверждать, что я был первым империалистом, которому дал аудиенцию большевистский премьер... – Лид засмеялся: – Он произвел на меня большое впечатление.

– В каком смысле? – спросил Марушевский.

– В том смысле, что Ленин – выдающаяся личность. На-

столько огромная, что я тогда сделал ошибку.

– Какую?

– Недооценив его. Я подумал тогда, что это он ошибается в своем представлении о мире и о времени, как всякая историческая фигура, опередившая свою эпоху. И потому обреченная на гибель. Чуть позднее выяснилось, что ошибся я, а вовсе не он.

– История России далеко еще не окончена! – с гневом произнес Марушевский.

– Вот именно! – живо подхватил Лид. – Она только начинается. Но, к сожалению, с нового листа.

Миллер спросил со сдерживаемой злостью:

– Отчего же вы так пессимистически оцениваете белое движение?

Лид развел руками:

– Потому что у вас нет людей. У вас полно исполнителей, статистов, пешек. А людей нет.

– Вы клевете на подвиг сыновей великой России, отдавших жизнь в борьбе с заразой большевизма! – с привычным пафосом провозгласил Миллер.

Лид покачал головой:

– Нет, я говорю только правду. Я сам ошибся, недооценив Ленина. Поэтому и решил сделать ставку на реставрацию монархии в России. Попытался организовать побег царской семьи на ледоколе из Тобольска – не смогли найти толковых людей. Я проехал всю Россию и встретился с адми-

ралом Колчаком. Я предложил адмиралу Колчаку организовать рейд через Ледовитый океан военных транспортов и торговых судов. И снова не нашли людей...

Лид щелкнул золотой зажигалкой, раскуривая погасшую сигару. Некурящий Миллер неприязненно покосился на него.

– Наконец, я поддержал Северное правительство Чайковского, – закончил Лид. – Этот оказался просто глупым и праздным болтуном...

Миллер спросил с вызовом:

– По-вашему выходит – вовсе обезлюдела Россия?

– Нет. – Лид снова взял в руки бокал, пригубил. – Россия не обезлюдела. Я внимательно слежу за всем, происходящим там. Имеется совсем другой вывод: Россия просто больше не хочет *вас*!

– Конечно! – Миллер обиженно поджал губы. – Можно подумать, Россия мечтает о большевиках...

– Этого я утверждать не стану. Но *вас* Россия исторгла. Вы все – белые вожди России – как тени египетских фараонов, повелители всего, чего нет. Это факт!

Апоплексически-красный Марушевский сказал дрожащим от злости голосом:

– Мне представляется, господин Лид, вы тешите свое самолюбие, пытаясь унижить двух заслуженных русских военных, столь претерпевших...

Лид вскочил на ноги:

– Упаси бог! Но вы пришли ко мне, чтобы я помог вам вернуться вождями нации. А я уверен, что вождей нации не привозят в обозах оккупационных войск.

Миллер и Марушевский тоже встали, и, уже направляясь к дверям, Миллер заявил:

– Запомните, господин Лид, мы еще будем в России! И тогда вы пожалеете о своем безверии. Тогда вам захочется вернуться в нашем обозе к своим фабрикам, складам, парогходам и факториям!

Лид громко засмеялся:

– Господа генералы, в этом ваша главная беда – вы строите большую политику не на идеях, а на личных отношениях! А я – политик и делец. И, несмотря на вашу угрозу, все-таки – как это ни удивительно – постараюсь вам всемерно помочь...

Генералы замерли в дверях.

Лид спокойно закончил:

– Держите меня в курсе всех дел. Англия не может сейчас участвовать ни в каких открытых операциях против Красной России – у нас есть свои рабочие...

– Но как же тогда... – с недоумением начал Миллер.

Лид, прищутив светлые глаза, пояснил:

– Очень просто... Если крейсер ее величества случайно натолкнется в Ледовитом океане на караван большевистских кораблей... Знаете, в море ведь всякое может случиться...

Белая ночь плыла над городом, над морем. Было тепло,

тихо. Лена и Шестаков медленно, устало шли по пристани.

Вдоль пирса и на рейде мирно спали ремонтируемые суда, чуть покачиваясь на пологой волне.

Шестаков, лицо — в машинном масле, окинул корабли взглядом и сказал Лене:

— Я так долго не мог привыкнуть к их силуэтам.

— Почему?

— Я ведь всегда плавал на боевых судах — у них приземистые, злые контуры хищников.

Лена заметила:

— А эти — добродушные, пузатые работяги. Посмотри, они даже горбятся от усталости... Знаешь, Коля, мне эти как-то больше по сердцу!

Шестаков засмеялся:

— Если по-честному говорить, Леночка, то мне — в последнее время — тоже!

Лена вздохнула:

— Папа в эти дни совсем домой не приходит. Как у него сил хватает!

Шестаков кивнул:

— Мы с ним сегодня на «Седове» проворачивали главную машину. Он еще на судне остался...

— Папа говорит, что с Англией какие-то новые осложнения?

— У нас с ней все время какие-нибудь осложнения, — усмехнулся Шестаков.

– А война не может снова начаться?

Шестаков развел руками:

– Кто его знает! Рассказывают, жил на свете один добрый стекольщик. Он сам мастерил замечательные рогатки и раздаивал их окрестным мальчишкам...

– Хитрый!

– Да. Вот мне политика Англии напоминает того стекольщика... Но думаю, что в открытую они сейчас не сунутся – побоятся...

Лена обогнала Шестакова, заглянула ему в глаза:

– Мы с тобой совсем сумасшедшие. Такая ночь, а мы говорим о политике!..

Шестаков смущенно улыбнулся:

– Ты первая начала... А потом, ничего не попишешь, Леночка: для кого-то это политика, а для нас с тобой – вся наша будущая жизнь. Да и сегодняшняя, собственно. Давай-ка подсластим ее!

Лена удивилась:

– А как?

– Залезь, пожалуйста, ко мне в верхний карман – у меня руки грязные...

Лена достала из кармана Шестакова аккуратный бумажный пакетик.

Развернула – а там пять кусков сахара!

– Ой, Коленька, сахар! Где же ты его достал?

Шестаков сказал торжественно:

– Мадемуазель Элен, это вам вместо цветов!

Лена сказала грустно:

– Они здесь, к сожалению, в это время не растут...

Шестаков покачал головой:

– К сожалению. А что касается сахара, то я его у Сергея Щекутьева выменял на банку гуталина. Он ведь неслыханный франт, а мои сапоги Иван Соколов – он их звал «кобеднишними» – давно загнал.

Лена с удовольствием разгрызла кусок сахара, со смехом сказала:

– Ой, как вкусно! Я, когда была маленькой, очень сласти любила...

– Я тоже!

– Стяну чего-нибудь на кухне, залезу в угол дивана в отцовском кабинете и требую от него сказку!

– А он тебе рассказывал сказки?

– Папа рассказывал мне одну сказку, бесконечно длинную, он ее сам для меня придумывал... – В голосе Лены слышалась любовь к отцу. – Про витязя Циклона, который полюбил сказочную фею Цикломену и все время воевал из-за нее со злым принцем Антициклоном. Я уж не помню, чем там у них закончилось соперничество...

Шестаков долго смотрел ей в глаза... Так долго, что она покраснела. И спросила:

– Ну что ты так на меня смотришь?..

– Я помню, чем закончилось, – весело сказал Шестаков. –

Циклон подстерег на архангельском пирсе Цикломену и, не снимая рабочей робы витязя, признался ей в любви. А потом поцеловал в сахарные уста...

Берс тщательно прицелился из револьвера, подняв его на уровень лица.

Плавно нажал спусковой крючок.

Раздался выстрел, и вбежавшему в комнату Чаплицкому представилось невероятное зрелище: голова Берса со странным стеклянным звоном разлетелась фонтаном сверкающих колючих осколков.

Чаплицкий застыл на месте.

Придя в себя, медленно спросил:

– В чем дело? Вы с ума сошли, Берс?

Берс задумчиво рассматривал револьвер, стоя перед разбитым зеркалом.

Потом так же медленно ответил:

– Насколько я могу судить, нет... Пока...

– Тогда зачем?..

– Мне пришло в голову, что никому не удастся увидеть собственную смерть... как бы со стороны.

Чаплицкий прищурился:

– И вы решили порепетировать перед зеркалом?

Берс с отвращением бросил револьвер на диван.

– Да. Человек должен знать, как он выглядит, отправляясь ад патрэс...

– Возрадовались бы ваши праотцы, ничего не скажешь, – насмешливо протянул Чаплицкий.

Берс нехотя покосился на него:

– У вас есть ко мне претензии?

– Ну что вы, сэр... Не то слово... Н-но... – Он пожевал губами, будто подбирая слова.

– Да?

– Выражаясь поэтически, в прелестном бутоне вашего цветочка сидит здоров-у-ущий червяк. Вы клонитесь долу, как Пизанская башня...

Берс безразлично возразил:

– Ну, допустим. Я – как Пизанская башня. Клонюсь. А вы несокрушимы, как Гибралтарская скала. Допустим... Но если не так... аллегорически?

– Пожалуйста. Наша бедная родина истекает кровью, а ее защитник репетирует собственную кончину перед зеркалом, как... простите меня... как провинциальный актер!

– У вас есть для меня более интересное занятие? – задиристо спросил Берс.

Чаплицкий спокойно ответил:

– Есть. Сегодня на рассвете в Архангельский порт прибыл транспорт «Руссель». Он доставил из-за границы котельный уголь, на котором большевистский караван пойдет за сибирским хлебушком.

– И что?..

Чаплицкий присел к столу.

– Если вознести транспорт к небесам... а говоря точнее, опустить его на дно морское... Вопрос о хлебном походе просто закончится.

– Вы хотите поручить это мне? – спросил Берс вяло.

Чаплицкий испытующе посмотрел на него:

– Видите ли, в этом деле есть опасность, конечно...

Берс выставил вперед ладони:

– Не надо! Я не гимназистка, господин каперанг. И вообще, мне сильно надоела вся эта оперетта... так что я давно готов... возвестись.

Чаплицкий продекламировал:

– «Вот агнец Божий... – отворил шкаф и вынул из него округлый плоский сверток, – который берет на себя... грехи мира...»

Развернул сверток – это была самодельная магнитная бомба.

Чаплицкий объяснил Берсу принцип ее действия.

– Если вот этот стерженек вы отведете до упора, – показал он на рукоятку часового механизма, – то вознесение состоится через пятнадцать минут. Времени вполне достаточно, чтобы удалиться с места событий.

Берс рассеянно кивнул.

Чаплицкий поставил на стол флягу в замшевом футляре, свинтил с нее металлическую крышку-стаканчик, налил до края и с видимым удовольствием выпил. Снова наполнил стаканчик густой желтоватой влагой, протянул ротмистру:

– А теперь, геноссе Берс, хлебните вот этого зелья – оно прошло огонь, воду и латунные трубы...

Дышать на топливном причале морского порта было трудно – в воздухе плотной стеной стояла едкая всепроникающая угольная пыль.

К стенке прижался пароход «Руссель». С палуб его по наклонным сходням непрерывной вереницей шли люди. Они были тяжело нагружены кулями с корабельным углем.

Разгрузка началась недавно, но на площадке пирса уже высилась основательная гора угля и росла она прямо на глазах – люди старались.

К пассажирскому трапу подошел человек в длинно-полом штатском пальто, на голове у него была низко нахлобученная кепка с большим козырьком.

Вооруженному матросу, стоявшему на вахте, он негромко сообщил пароль:

– «Красный Север»...

– «Карский рейд»... – так же негромко отозвался вахтенный.

Осмотрел человека с головы до ног и спросил требовательно:

– Пропуск?

Человек протянул ему бумажку.

Матрос по слогам прочитал ее вслух:

– «Ку-ты-рин Се-мен Ива-но-вич... Ре-ви-зор...»

Спрятал пропуск за отворот бушлата:

– Проходите...

Это был Берс.

Лавируя между грузчиками, ротмистр направился на корму. Вахтенный провожал его взглядом, пока он не исчез за палубными надстройками...

Берс спустился на нижнюю палубу. Сверился с планом судна, полученным от Чаплицкого, ощупал бомбу, им же ловко подвешенную на ременной петле под пальто.

Глубоко вздохнул и направился к машинному отделению.

Разгрузка угля продолжалась, когда Берс вновь появился на палубе. Он неторопливо шагал к пассажирскому трапу и уже взялся за поручень, когда на пути его появился широкоплечий парень в кожанке.

Он подозрительно всмотрелся в Берса:

– Постойте-ка, гражданин...

Берс остановился.

– Вы откуда, гражданин? – спросил парень.

Берс ответил вполне спокойно:

– Из финансовой комиссии городского совета...

– Кто будете?

– Я ревизор...

Парень в кожанке – чекист, как сообразил Берс, – никак не отставал:

– Документик ваш позвольте...

– Я часовому отдал, – уже начиная волноваться, раздраженно сказал Берс.

– То пропуск. А ваш личный... мандат? Фамилия как? – Вопросы посыпались градом.

Берс открыл уже рот, чтобы назвать фамилию, и вдруг понял, что... забыл ее! Забыл «собственную» фамилию! Какая-то простая, плебейская кликуха... Ах, черт побери, глупость какая!..

Ротмистр достал бумажник, сделал вид, что ищет в нем документ.

Чекист терпеливо ждал.

– Вы знаете... глупость какая... – Берс растерянно шарил по всем карманам. – Я, похоже, забыл его дома...

Чекист сказал укоризненно:

– Да-а? Нехорошо. Документы надо с собой носить, гражданин. Время сами знаете какое... Придется пройти со мной разобраться.

Берс посмотрел на часы: оставалась одна минута, может быть, полторы.

И он впервые за весь день ощутил страх.

Страх нарастал, как лавина, панический ужас охватил все его существо. Берс почувствовал, как в одно мгновение взмокла спина, в груди заколотилась мелкая, противная, опустошающая дрожь.

– Я на заседание опаздываю... Может, вот часовой... Он подтвердит... – бормотал Берс, неотрывно глядя на часы.

– Да вы не волнуйтесь, гражданин ревизор, – сказал чекист.

Он внимательно посмотрел на Берса. Подозрения его усилились, и он положил руку на плечо ротмистра.

Тот в ужасе отшатнулся.

Затравленно посмотрел вокруг.

И вдруг, оттолкнув чекиста, бросился к противоположному борту. Чекист побежал за ним.

Берс пересек палубу, и тогда часовой, уже давно с интересом наблюдавший всю сцену, вскинул винтовку.

Неторопливо прицелился беглецу в ноги.

И когда до борта ему оставалось несколько шагов пробежать – выстрелил.

Берс упал, но в животном страхе продолжал ползти к борту, волоча за собой простреленную ногу. В мозгу его мелькали расплывчатые, бессвязные, торопливые, как мыши, мысли, потом, разом исчезнув, они уступили место одной, самой важной, сразу ставшей четкой, очевидной, но уже безвозвратно запоздалой...

«Что сделал бы на моем месте Чаплицкий? Он сказал бы чекисту: документ, мой мандат, на берегу... у кого-то... кто ждет на пирсе... с портфелем... Ах, какой же я нелепый... Ведь главное – сойти с корабля... Поздно. Поздно!»

Чекист уже настиг его, схватил поперек корпуса, и в это мгновение мощный взрыв смел все окрест...

Шестаков и Болдырев стояли на причале морского порта, у стенки, где был взорван «Руссель».

В воде еще полно было всякого мусора, обломков, нефтяных пятен, оставшихся после взрыва. Чуть в стороне, вдоль причала, лежали тела погибших во время взрыва.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.